

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? – давайте их!
Конечно: северные звуки
Ласкают мой привычный слух;
Их любит мой славянский дух;
Их музыкой сердечны муки
Усыплены: но дорожит
Одними ль звуками пиит?
И где ж мы первые познания
И мысли первые нашли?
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русских дух
Зады твердит и лжет за двух.

.
.

Поэты наши переводят
Или молчат; один журнал
Исполнен приторных похвал,
Тот брани плоской; все наводят
Зевоту скуки, чуть не сон:
Хорош российский Геликон!
Пушкин{1}

В этих стихах Пушкина заключается самая резкая характеристика русской литературы. Правда, многие не без основания могут принять их скорее за эпиграмму на русскую литературу, нежели за характеристику ее, потому что уже поэзия самого Пушкина не подходит под эту характеристику, а у нас, кроме Пушкина, есть и еще несколько явлений, достойных более или менее почетного упоминания даже при его имени. Но если это» не характеристика, то и не совсем эпиграмма. Эпиграмма есть плод презрения или предубеждения к предмету, на который она нападает; а Пушкин, которого поэзия – самый звучный и торжественный орган русского духа и русского слова, не мог презирать топ литературы, которой посвятил всю жизнь свою. Впрочем, для оправдания великого поэта в подобном презрении довольно было бы и этих чудных стихов, в которых с такою задушевностью, с таким умилением высказывается самое родственное, самое кровное чувство любви к родному слову:

. . . .Северные звуки
Ласкают мой привычный слух;
Их любит мой славянский дух;
Их музыкой сердечны муки
Усыплены. . . . {2}

Между тем любовь любовью, а истина прежде всего – даже прежде самой любви. Вам, конечно, не раз случалось слышать от других и самим предлагать вопрос: «Что нового у нас в литературе?» или: «Нет ли чего-нибудь прочесть?» Скажите: как вы отвечали или как вам отвечали на этот вопрос?.. Правда, у нас выходит ежемесячно книг до тридцати: ими испещряются книгопродавческие объявления, суждениями о них наполняются библиографические отделы журналов; их хвалят и бранят, о них спорят и бранятся; а между тем все-таки –

Да где ж они? – давайте их!
Как хотите, а это – презатруднительный вопрос! Попытаемся, однако ж, ответить на него, только не прямо и не просто, и не от своего лица, а в форме следующего разговора между двумя лицами – А и Б.

А. – Так где ж они? – давайте их!

Б. – Извольте. Только их так много, что ни мне перечесать, ни вам унести с собою невозможно. Начнем с начала.

А. – Да, если вы вздумаете прочесть мне весь каталог Смирдина, то, конечно, останетесь победителем в нашем споре.

Б. – Нет: я буду говорить только о капитальных явлениях нашей литературы, которых бессмертие признано знаменитейшими авторитетами в деле эстетического вкуса и подтверждено «общим мнением».

А. – Интересно; начинайте же именно с начала русской литературы.

Б. – Ну, вот вам «Сатиры Кантемира»...

А. – Покорно благодарю; ведь я спрашивал вас о книгах, которые годятся не для одного украшения библиотек, но и для чтения...

Б. – Как! вы не признаете достоинства Кантемировых сатир? Вспомните, какую славою пользовались они в свое время! Вспомните эту поэтическую надпись к портрету знаменитого сатирика:

Старинный слог его достоинств не умалит.
Порок! не подходи: сей взор тебя ужалит!{3}
Вспомните, что так основательно высказано Жуковским в его превосходной статье «О сатирах Кантемира»...

А. – Как же, как же! читал я и ее: статья точно превосходная; но ваша первая попытка занять меня чтением все-таки не удалась: я уже читал Кантемира, а перечитывать – страшусь и подумать, потому что я читаю не из одного любопытства, но и для удовольствия.

Б. – Вот Ломоносов – поэт, лирик, трагик, оратор, ретор, ученый муж...

А. – И прибавьте – великий характер, явление, делающее честь человеческой природе и русскому имени; только не поэт, не лирик, не трагик и не оратор, потому что реторика – в чем бы она ни была, в стихах или в прозе, в оде или похвальном слове – не поэзия и не ораторство, а просто реторика, вещь, высокочтимая в школах, любезная педантам, но скучная и неприятная для людей с умом, душою и вкусом...

Б. – Помилуйте!

Он наших стран Малерб, он Пиндару подобен!{4}

А. – Не спорю: может быть, он и Малерб «наших стран», но от этого «нашим странам» отнюдь не легче, и это нисколько не мешает «нашим странам» зевать от тяжелых, прозаических и риторических стихов Ломоносова. Но между им и Пиндаром так же мало общего, как между олимпийскими играми и нашими иллюминациями, или олимпийскими ристаниями и нашими Лебедянскими скачками; за это я постоянно и поспорю. Пиндар был поэт: вот уже и несходство с Ломоносовым. Поэзия Пиндара выросла из почвы эллинского духа, из недр эллинской национальности; так называемая поэзия Ломоносова выросла из варварских схоластических риторик духовных училищ XVII века: вот и еще несходство...

Б. – Но Ломоносову удивлялся Державин, его превозносил Мерзляков, и нет ни одного сколько-нибудь известного русского поэта, критика, литератора, который не видел бы в Ломоносове великого лирика. В одной статье «Вестника Европы» сказано: «Ломоносов дивное и великое светило, коего лучезарным сиянием не налюбоваться в сытость и позднешему потомству»{5}.

А. – Я в сытость уважаю статью «Вестника Европы», равно как и Державина и Мерзлякова; но сужу о поэтах по своим, а не по чужим мнениям. Впрочем, если вам нужны авторитеты, – ссылаюсь на мнение Пушкина, который говорит, что «в Ломоносове нет ни чувства, ни воображения» и что, «сам будучи первым нашим университетом, он был в нем, как профессор поэзии и элоквенции, только исправным чиновником, а не поэтом, вдохновенным свыше, но оратором, мощно увлекающим»{6}. И если вы имеете право разделять мнение о Ломоносове Державина, Мерзлякова и «Вестника Европы», то почему же мне не иметь права разделять мнение Пушкина? Не

Б. – Конечно; против этого не нашлись бы ничего сказать все «ученые мужи». Итак, вы не хотите считать сочинений Ломоносова в числе книг для чтения?

А. – Я этого не говорю о всех сочинениях Ломоносова; но, уж, конечно, не буду читать ни его реторики, ни похвальных слов, ни торжественных од, ни трагедий, ни посланий о пользе стекла и других предметах, полезных для фабрик, но не для искусства; да, не буду, тем более что я уже читал их... Но я всегда посоветую всякому молодому человеку прочесть их, чтоб познакомиться с интересным историческим фактом литературы и языка русского. Что же касается до собственно ученых сочинений Ломоносова по части физики, химии, навигации, русского стихосложения, – они всегда будут иметь свою историческую важность и цену в глазах людей, занимающихся этими предметами, всегда будут капитальным достоянием истории ученой русской литературы; но публике литературной они всегда будут чужды, как поэзия и ораторские речи Ломоносова... Ломоносову воздвигнут памятник, – и он вполне достоин этого; он – великий характер, примечательнейший человек; юноши с особенным вниманием и особенною любовью должны изучать его жизнь, носить в душе своей его величавый образ; но, бога ради, увольте их от поэзии и красноречия Ломоносова... Прошлого года, кажется, издан был одним «ученым» обществом выбор из поэтических и ораторских сочинений Ломоносова, в двух томах in-quarto[1], для употребления в учебных заведениях, в образец для школьных опытов в стихах и прозе{7}. Что сказать об этом? Я человек простой, не из «ученых»; – может, оно там так и нужно – это не мое дело, как сказал городничий в «Ревизоре» об учителе уездного училища;{8} но между публикою и школою такая же разница, как и между книгою и действительностию: что хорошо в одной, то никуда не годится в другой...

Б. – Я понимаю, что вы хотите сказать. Итак, вот вам десять томов «Полного собрания всех сочинений в стихах и прозе покойного действительного статского советника, ордена св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы в удовольствие любителей российской учености Николаем Новиковым», и пр. Я надеюсь, что вы к его стихам и прозе будете благосклоннее, чем к стихам и прозе Ломоносова: поэзия Сумарокова менее школьна и более жизненна, чем поэзия Ломоносова. Сумароков писал не одни оды и трагедии, но и сатиры, комедии, даже комические статьи, в которых преследовал невежество, дикость нравов, ябедничество, взяточничество, казнокрадство и прочие смертные грехи полуазиатской общественности.

А. – И я согласен, что он принес своего рода пользу и сделал частицу добра для общества; но не хочу кланяться грязному помелу, которым выместили улицу. Помело всегда помело, хотя оно и полезная вещь. Сатиры и комедии Сумарокова – помело, в полезности которого я не сомневаюсь, но которому все-таки кланяться не стану. И суздальские литографии «Как мыши kota погрбают» и «Как пришел Яков ерша смякал» тоже принесли свою пользу черному народу: без них он не имел бы понятия о вещи, называемой «картиною»; но кто же будет говорить о суздальских лубочных литографиях, как о произведениях искусства? Сумароков напал на невежество – и сам не больше других знал, и бредил только своим «бедным рифмичеством», как выразился о нем Ломоносов{9}. Сумароков преследовал дикость нравов, жаловался печатно, что в Москве «во время представления «Семиры» грызут орехи и, когда представление в пущем жаре своем, секут поссорившихся между собою пьяных кучеров, ко тревоге всего партера, лож и театра»{10}, – тот самый Сумароков избил палкою купца, который, видя его в халате, не сказал ему «ваше превосходительство!»{11}. Главная причина негодования Сумарокова на общественное невежество состояла в том, что оно мешало обществу понимать его пресловутые трагедии; а подъячих преследовал он сколько потому, что имел до них дела, столько и для острого словца. Истинное негодование на противоречия и пошлость общества есть недуг глубокой и благородной души, которая стоит выше своего общества и носит в себе идеал другой, лучшей общественности. Судя по одному поступку Сумарокова с купцом, нельзя думать, чтоб сей пиита был выше своего общества; а в сочинениях его не заметно ни малейших следов лучшего идеала общественности. Он не страдал болезнями современного ему общества; он только досадовал и злился, что общество, не понимая его гениальных творений, не отдавало ему за них должного почтения и верило больше московскому подъячему, чем господину Волтеру и ему, господину Сумарокову...{12} Если хотите видеть страдания высокой души человека, не понимаемого современностию, – читайте письма Ломоносова к Шувалову...{13}

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
Б. – Но Сумароков был первым драматургом в России, и его трагедиям даже обожатели Ломоносова, как Мерзляков, отдадут преимущество?

А. – Я с этим не согласен. Ломоносов и в ошибках своих поучительнее и выше этого бездарного писаки. Оба они ре-торы в своих стихах; но ведь и риторика риторике рознь, риторика Корнеля, Расина и Вольтера всегда будет выше риторике Озерова, а риторика Ломоносова выше риторике Сумарокова. Ломоносов везде умен, даже и в риторических стихах своих.

Нет, по моему мнению, Сумароков сделал одно истинно важное дело, хотя и без всякого особенного умысла: его пиитическая тень возникла перед критическим оком С. Н. Глинки и вдохновила его «предъявить» преинтересную книгу: «Очерки жизни и сочинения Александра Петровича Сумарокова», пресловутую книгу, которая, говоря языком ее почтенного сочинителя, «огромилла российский быт»...{14} Вот за это спасибо Сумарокову: лучшего он ничего не мог сделать...

Б. – Но что вы скажете о Княжнине? Общее мнение приписывает ему усовершенствование русского театра, рожденного Сумароковым...

А. – Да, общее мнение всех «курсов и историй русской литературы»{15}. Княжнин не напрасно занимает в них свое место; только ему и не должно выходить из них, благо он пригнул себе тепленькую каморку. История литературы и сама литература – не всегда одно и то же. При возникновении литературы, начавшейся подражанием, является множество маленьких героев, приобретающих себе бессмертие. Грузинцев, автор пьесы «Петр Великий», и Г. Свечин, сочинитель «Александровиды», стоят Тредьяковского; но о них уже забыли – они поздно родились, поздно явились; а Тредьяковский никогда не будет забыт, потому что родился вовремя. Я не спорю, что Сумароков – отец русского театра{16}, и притом достойный отец достойного сына; но все-таки театр наш не исключительно от него должен вести свою родословную: вспомните, что еще в царствование Алексея Михайловича у нас было нечто похожее на придворный театр, где разыгрывались мистерии, вроде тех, которыми начались все европейские театры. Что ж? Не прикажете ли и их напечатать для пользы и удовольствия почтеннейшей публики? И французы в истории своей литературы упоминают о «мистериях», равно как и о драмах Гарнье и Гарди, предшественниках Корнеля; но они не разбирают их, не излагают их содержания, не рассуждают о их красотах или недостатках, не рекомендуют их вниманию публики, не включают их в общий капитал своей литературы. Литературные заслуги бывают внешние и внутренние: первые важны для той минуты, в которую появились; вторые остаются навсегда. Иначе ничьей жизни не достало бы перечесть и изучить иную литературу. Так и Княжнин, лепивший свои риторические трагедии и комедии из дурно переведенных им лоскутков ветхой и дырявой мантии классической французской Мельпомены{17}, оказал своего рода пользу и современному театру и современной литературе. За это ему честь и слава; но требовать, чтобы его читали и это чтение называли «занятием литературою», – просто нелепость. Даже и учащемуся юношеству нет никакой нужды давать читать таких писателей, как Сумароков и Княжнин, если это делается не для предостережения от покушения или возможности писать так же дурно, как писали сии пииты. Но это значило бы подражать спартанцам, которые, для внушения своему юношеству отвращения от пьянства, заставляли рабов напиваться...

Б. – Вижу, что о Хераскове и Петрове нечего и говорить с вами...

А. – Тем более что о них и педанты перестали говорить: это тяжба, начисто проигранная. Сюда же должно отнести и Богдановича с его тяжелою и неуклюжею «Душенькою», которая считалась в свое время образцом легкости и грациозности и возбуждала фурор{18}.

Б. – А Хемницер, Капнист?

А. – Из них можно кое-что помещать в хрестоматиях и других подобных сборниках, составляемых для руководства при изучении истории русской литературы. Первый написал пять-шесть порядочных басен, из которых «Метафизик» пользуется особым уважением и благоговением людей, видящих в подобных произведениях что-то важное и говорящих «творец «Метафизика» «точно так же, как другие говорят «творец «Макбета»». Капнист переделал довольно удачно, в духе своего времени, одну или две оды Горация; элегии же его особенно важны для хрестоматий, как живое свидетельство сентиментального духа русской литературы того времени. О «Ябед» его довольно сказать, что это произведение было благородным порывом негодования

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru против одной из возмутительнейших сторон современной ему действительности и что за это долго пользовалось оно огромной славою, несмотря на все свое поэтическое и даже литературное ничтожество. Замечательно, до чего простиралось неза заслуженное удивление к этому посредственному произведению: Писарев, лучший русский водевилист и вообще человек замечательно даровитый в сфере мелкой житейской литературы, сражался за «Ябеду» и в стихах и в прозе и в одном из своих лучших произведений, нападая на одного журналиста, повершил свои тяжкие обвинения следую щей наивной выходкою:

Он Грибоедова хвалил –
И разругал Капниста!..{19}
В самом деле, тяжелое обвинение! О доброе старое время!..

Б. – Но мы, кажется, забежали вперед; воротимтесь. Думаю, вы будете не так исключительны и строги в своем суждении о Державине.

А. – С уважением отступаю при этом знаменитом имени, но не для того, чтоб пасть перед ним во прах и бессознательно воскурить фимиам громких фраз и возгласов, а для того, чтоб лучше и полнее измерить глазами этот величавый образ и строже и тверже произнести свое суждение о нем, – потому именно, что глубоко уважаю его... Державин – первое действительное проявление русского духа в сфере поэзии, которой до него не было на Руси. Державин – это Илья Муромец нашей поэзии. Тот тридцать лет сидел сиднем, не зная, что он богатырь; а этот сорок лет безмолвствовал, не зная, что он поэт; подобно Илье Муромцу, Державин поздно ощутил свою силу, а ощутив, обнаружил ее в исполинских и бесплодных проявлениях... Никого у нас не хвалили так много и так безусловно, как Державина, и никто доселе не понял менее его. Невольно смиряясь перед исполинским именем, все склонялись перед ним, не замечая, что это только имя – не больше; поэт, а не поэзия... Его все единодушно превозносят, все оскорбляются малейшим сомнением в безукоризненности его поэтической славы, и между тем никто его не читает, и всего менее те, которые печатно кричат о нем... По моему мнению, эти люди, так бессознательно поступающие, действуют очень разумно и несколько не противоречат самим себе. Я сравнил Державина с древним русским богатырем Ильею Муромцем и, на основании этого сравнения, назвал поэзию Державина исполинскими, но бесплодными проявлениями поэтической силы: для объяснения своей мысли я должен продолжать это сравнение. Илья Муромец один-одинехонек побивает целую татарскую рать – и чем же? – не копьем, не мечом, не палицею тяжкою, а татаринном, которого он схватил за ноги, да и давай им помахать на все четыре стороны, сардонически приговаривая:

А и крепок татарин – не ломится,
А жиловат, собака, – не изорвется{20}.

Кто не согласится, что подобный подвиг поражает ум удивлением? Но и кто же не согласится, что возбуждаемое им удивление – чувство чисто внешнее, холодное и что оно – только удивление, а не тот божественный восторг, который возбуждается в духе чрез разумное проникновение в глубокую сущность предмета? Но здесь не во что проникать: здесь только сила, лишенная всякого содержания, сила как сила – больше ничего. Совсем не так действуют на нас мифические сказания римского народа о Горациях Коклесах, Муциях Сцеволах или рыцарские легенды о военном схимничестве за честь креста, гроба и имени господня, о битвах за красоту, о неизменности обетам, о безумном фанатическом{21} обожании воображаемых идеалов, как будто действительных существ: они возбуждают в нас не одно удивление, но и любовь, и восторг, и сознание. С любовью преклоняемся мы перед бесконечностью духа человеческого, пред несокрушимой твердостью воли, торжествующей над ограниченными условиями немощной плоти; в них мы обожаем божественную способность человека уничтожаться, как в жертвенном огне на алтаре бога, в пафосе к бесплотной и бессмертной идее... И это оттого, что они полны общечеловеческого содержания, что мы ощущаем, чувствуем и провидим в них все, чем человек есть человек – чувственное явление незримого и вечного духа... И вот этого-то содержания в поэзии Державина так же мало, как и в подвиге Ильи Муромца{22}. Откуда было взять ему содержание для своей поэзии? К нам долетали неопределенные слухи и толки об XVIII веке Франции, мы даже сами ездили знакомиться с ним в Париж... У нас читали Вольтера и повторяли его остроты; но на Руссо смотрели только как на чувствительного мечтателя; существования же немца Канта тогда никто и не подозревал... Россия была навеки оторвана от своего прошедшего, да и притом так уже свыклась с реформой, что и не могла ничего найти в нем для себя; настоящее ее было неверным и косвенным отражением чужого: откуда же было возникнуть в ней своеобразному созерцанию жизни, сумме тех общих для

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru всех и каждого понятий, посредством которых в обществе сливаются воедино все частности и личности, которые составляют цвет, характеристику, душу общества и, как в зеркале, отражаются в его поэзии и литературе?.. Их не было и не могло быть. И вот отчего поэзия Державина так чужда всякого содержания. Что мог видеть и слышать он в своем детстве, у себя дома? чему мог он выучиться в школе? что мог ему дать опыт его жизни в юношестве и в годах мужества? Можно ли удивиться, что, в апогее своей славы, пятидесятилетний Державин смотрел на поэзию, как на отдых и забаву, а на канцелярские бумаги, как на дело, считал себя не поэтом, а чиновником? Повторяю: тут нечего было и думать о содержании для поэзии – и поэзия Державина осталась без всякого содержания. Возьмем ли мы его так называемые «анакреонтические стихотворения»: сколько в них превосходных частности, удачных стихов, поэтических образов, сколько огня и яркости; но вместе с тем и какая во всем внешность: ни малейшего признака, ни слабых следов мистики сердца, жизни чувства! Чувство любви он везде берет в его отвлеченной общности: оно всегда у него одно и то же, всегда неподвижно, оцепенело, никогда не переходит из мотива в мотив и потому лишено всего внутреннего, – блестит, но не греет... Возьмем ли его так называемые философические оды: они иногда богаты сентенциями, вроде описания признаков, долженствующих составлять истинного вельможу, и всегда бедны мыслями, лишены созерцания. Только одно созерцание сообщает некоторым его одам поэтический колорит: это мысль о преходящности всего в мире, о падении героев, царств и народов, смываемых с лица земли волнами всепоглощающего океана времени... Да, дума Державина об этом предмете иногда грустна и полна величия и поэзии, и нигде не выразил он ее с такою полнотою и силою, как в своей прекрасной «Оде на смерть Мещерского»:

Ничто от роковых когтей,
Никая тварь но убегает:
Монарх и узник – снесь червей,
Гробницы злость стихий снесает;
Зияет время славу стерты
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы:
Глощает царства алчна смерть.
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся;
Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнца ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

Тут есть поэзия, потому что есть мысль, не из головы выскочившая в одно прекрасное утро, когда хозяин этой головы, сидя в халате, пил чай и курил трубку, но вышедшая из глубоко потрясенной натуры, в страдании рожденная из судорожно сжавшегося сердца... Особенно яркою характеристикой века дышит этот куплет:

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский, ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег;
К брегам ты мертвых удалился:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? – Он там. – Где там? – Но знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О горе нам, рожденным в свет!»

XVIII век слишком играл жизнью, слишком легко смотрел на нее; роскошь, прохлады и неги были его стихиею: потому удивительно ли, что только смерть человека, а не причина и следствие ее заставляли призадумываться этих ветреных, легкомысленных детей XVIII века? На пиру грянул гром – веселые гости смутились; перед ними бездыханный труп «сына роскоши, прохлад и нег», следовательно, по их мнению, человека, которого смерть не должна бы посметь коснуться... Но и он мертв – кто же после этого смеет надеяться на жизнь? эта мысль леденит кровь в их жилах, и из груди их, сжатой страшным призраком смерти, вырывается болезненный вопль: «О горе нам, рожденным в свет!» Вот трагическая сторона XVIII века, который больше всех зол в мире боялся смерти, – и Державин бессознательно, но превосходно выразил эту мысль. Однако ж она у него не везде одинаково хорошо выражена, всегда вертится около самой себя, не двигаясь вперед, подобно колесцу вентилятора, и оттого утомляет читателя однообразным шумом своих оборотов. Кроме

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
же этой мысли, я других не знаю у Державина; а согласитесь, что странно представить себе поэзию, которая все вращается на одной, и притом лишенной внутреннего движения мысли... Что же до его торжественных од, – и в них есть смелые обороты, яркие проблески державинской поэзии; но они невообразимо длинны, а это очень невыгодное обстоятельство в лирической и особенно – «торжественной» поэзии: при длинноте, скука победит всякую поэзию; потом, они преисполнены враждебного для поэзии элемента – реторики, натянуты, неестественны, дурно концепированы, а главное – лишены и тени какого бы то ни было содержания. Притом же и события, подавшие повод к сочинению этих од, были особенно важны только для своего времени: наше время совершенно к ним холодно, потому что его интересы стали и пошире, и глубже, и почеловечнее. Два стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» совершенно уничтожают все многочисленные торжественные оды Державина. Сверх «Оды на смерть Мещерского», я высоко ставлю еще его «Водопад». В этой пьесе с особенной выпуклостью и резкостью проявились все достоинства и недостатки поэзии Державина. В ней особенно заметен этот полет, составляющий характеристическую черту державинской поэзии; глубокая и торжественная дума лежит в ее основании; смелость и оригинальность образов и картин доходит в ней часто до высокого; в ней –

Стук слышен млатов по ветрам,
Визг пил и стон мехов подъемных{24}.

.
Утёсы и скалы дремали,
Волнистой облака грядой
Тихонько мимо пробегали,
Из коих трепетна, бледна,
Проглядывала вниз луна.
Дух читателя настроен фантастически и ожидает чудес –

Внимает завыванье псов,
Рев ветров, скрип дерев дебелых,
Стенанье филинов и сов,
И вещей глас вдали животных,
И тихий шорох вокруг бесплотных.
Он слышит: сокрушилась ель,
Станица вранов встрепетала,
Кремнистый холм дал страшну щель,
Гора с богатствами упала;
Грохочет эхо по горам,
Как гром, гремящий по громам.
Но особенно люблю я «Водопад» за героя, которого дивная судьба при жизни и дивная смерть среди степи, под походным плащом, вдохновила Державина. Много величавых образов украшает блестящий век Екатерины Великой; но Потемкин всех их заслоняет в глазах потомства своею колоссальною фигурою. Его и теперь всё так же не понимают, как не понимали тогда: видят счастливого временщика, сына случая, гордого вельможу, – и не видят сына судьбы, великого человека, умом завоевавшего свое безмерное счастье, а гением доказавшего свои права на него. Потемкин – это одна из тех титанских натур, которых душа вечно пожирается ничем не удовлетворяемою жаждою деятельности, для которых перестать действовать значит перестать жить, которым, завоевав землю, надо делать высадку на луну или умирать...

Се ты, отважнейший из смертных,
Парящий замыслами ум!
Нашел ты средь путей известных,
Но проложил их сам – и шум
Оставил по себе в потомки;
Се ты, о чудный вождь Потемкин!
Колоссальный образ Потемкина с ног до головы облит поэзиею; Державин понял это – и «Водопад» самая высокая, самая поэтическая песнь его.

Однако ж смелая концепция этой песни неудачна в целом и блещит только частностями; все сочинение растянута; лучшие места прерываются риторикою; желание сказать какую-нибудь любимую мысль, которая не выходит из предыдущего и не вяжется с последующим, привело множество лишних стихов только для внешней связи; беспрестанно загорающееся огнем поэзии чувство читателя беспрестанно охлаждается водою общих риторических мест; прекрасные стихи сменяются дурными, счастливые обороты – ничтожными выражениями, и в целом эта поэма только истомит

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
и измучит читателя, а не усладит его полным, ясным восторгом...

Я особенно дорожу теми одами Державина, в которых выражена вельможная и барская жизнь нараспашку – единственная, хотя и относительно поэтическая жизнь того времени. Поэзия всегда верна истории, потому что история есть почва поэзии. Я сказал, что вельможество было единственным образованным сословием того времени, – и это не могло не отразиться в поэзии Державина, дав ей, хоть и бедное и одностороннее, содержание. Такие оды его, как «К первому соседу», «К второму соседу», «Гостю», – принадлежат к числу лучших его од. Но еще интереснее те из них, которые блещут картинами русской природы. Его русская осень гораздо лучше весны, а зима весело блестит яркою белизною снегов и пушистого инея... Седая чародейка, она машет косматым рукавом, сыплет снег, мороз и иней, претворяя воды в льды; в полях воют голодные волки; олень уходит на мшистые тундры, медведь ложится в свое логовище...{25} А румяная осень? –

Уже стада толпятся птичьи,
Ковыль сребрится по степям,
Шумящи красно-желты листья
Расстлались всюду по тропам.
В опушке заяц быстроногий,
Как колпик, поседев, лежит;
Ловецки раздаются роги;
И выжлят лай и гул гремит;
Запаслися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет...

Да, Державин сочувствовал русской осенней и зимней природе, – и это сочувствие, как наследие, перешло от него к Пушкину. Но что у Пушкина является апофеозом, то у Державина есть только элемент, начало чего-то, зерно, еще не развившееся в растение и цвет. Великую приносит Державину честь, что он в оде, где говорится об осаде Очакова и Потемкине, дерзнул, вопреки всем понятиям того времени о благородной и украшенной природе в искусстве, говорить о зайцах, о голодных волках, о медведях, о русском мужике и его добрых щах и пиве, дерзнул назвать зиму седою чародейкой, которая машет косматым рукавом: это показывает, что он одарен был сильными и самостоятельными элементами поэзии, которым, однако ж, нельзя было развиться во что-нибудь определенное и суждено было остаться только элементами, по отсутствию содержания, еще не выработанного общественной жизнью, по неимению литературного, поэтического, разговорного и всякого языка и по кривым понятиям об искусстве – не только у нас, но и в самой Европе, где XVIII век вообще был неблагоприятен поэзии. Конечно, во всем этом Державин несколько не виноват, я и не виню его: говорю только, что ему можно удивляться, его должно изучать, но что нет никакой возможности читать его для наслаждения поэзией и что его произведения, будучи важным фактом для эстетики, теперь составляют в сфере поэзии совершенно мертвый капитал. Возьмем даже его оду «Осень во время осады Очакова», те самые прекрасные картины осени и зимы, о которых я сейчас говорил. Они преисполнены самых прозаических обмолвок или блесков «облагороженной и украшенной природы»: после щей и пива у него крестьянин, подобно какому-нибудь менестрелю, поет блаженство своих дней; от хладного дыхания зимы цепенеет взор природы, небесный Марс оставляет громы и ложится отдыхать в туманы, сельские нимфы (то есть деревенские девки в лаптях, если не босиком) перестают петь в хороводах... Я уж не говорю о том, что в этой оде нет ни единства мысли, ни единства ощущения; что она не составляет ничего общего, переполнена риторикой, богата дурными стихами, неточными выражениями, на которых беспрестанно спотыкается встревоженное чувство: это общая и необходимая принадлежность, существенное качество каждого стихотворения Державина. И нас хотят заставить читать его для услаждения себя поэзией!.. Поэзия есть искусство, художество, изящная форма истинных идей и верных (а не фальшивых) ощущений: поэтому часто одно слово, одно неточное выражение портит все поэтическое произведение, разрушая целостность впечатления. Я в детстве знал Державина наизусть, и мне трудно было из мира его напряженно торжественной поэзии, бедной содержанием, лишенной всякой художественности, всякой виртуозности, перейти в мир поэзии Пушкина, столь светлой, ясной, прозрачной, определенной, возвышенно свободной, без напряженности, полной содержания и потому вызывающей из души читателя все чувства, даже такие, которых возможности он и не подозревал в себе, заставляющей вглядываться и вдумываться в природу, в жизнь и во внутреннее, тайное святилище собственной души, – наконец, поэзии, столь гармонической и художественной. Для моего детского воображения, поставленного державинскою поэзией на ходули, поэзия Пушкина казалась слишком простою, слишком кроткою и лишенною всякого полета, всякой возвышенности... Переход от Державина к Жуковскому для меня был очень

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
легко: я тотчас же очаровался этим мистическим миром внутренней, задушевной поэзии, любил ее исключительно; но Державин все-таки оставался в моем понятии идеалом истинного поэта. Только постепенное духовное развитие в лоне пушкинской поэзии могло оторвать меня от глубоко вкоренившихся впечатлений детства и довести до сознания тайны, сущности и значения истинной поэзии. И эта сила детских впечатлений имеет свою причину в богатстве и могуществе поэтических элементов, какими одарен был от природы Державин. Родись этот человек в благоприятное для поэзии время, – может быть, он был бы великим поэтом и векам завещал бы свои могучие и полетистые вдохновения; но судьба велела ему быть первой ступенью рождающейся в народе поэзии, – и вот едва прошло двадцать пять лет после его смерти, а его уже никто не читает, и только безотчетно, на веру и по преданиям, восторгаются им... Повторяю: я поставил бы долгом и обязанностью всякому юноше не только прочесть – даже изучить Державина, как великий факт в истории русской литературы, языка и эстетического образования общества; но никому не возьмусь советовать читать Державина для эстетического наслаждения: я знаю наперед, что мой совет пропал бы втуне после первой прочитанной оды или после первых стихов ее. Воля ваша, я так же не умею представить женщину с Державиным в руках, как Пушкин не умел ее представить себе с «Благонамеренным» в руках{26}. Знаю, что со мною многие согласятся, но с насмешливою улыбкою, – которая будет не очень любезна в отношении к дамам; но, право, пора бы нам остеречь этот мусульманский взгляд на женщину и в справедливом смирении сознаться, что наши женщины едва ли не умнее наших мужчин, хоть эти господа и превосходят их в учености. Кто первый, вопреки школьным предрассудкам, живым, непосредственным чувством оценил поэзию Жуковского? – женщины. Пока наши романтики подводили поэзию Пушкина под новую теорию и отстаивали ее от не заслуживавших внимания педантов-классиков, – женщины наши уже заучили наизусть стихи Пушкина. Мнение, что женщина годна только рожать и нянчить детей, варить мужу щи и кашу или плясать и сплетничать да почитать легонькие пустячки – это истинно киргиз-кайсацкое мнение! Женщина имеет равные права и равное участие с мужчиной в дарах высшей духовной жизни, – и если она во всех отношениях стоит ниже его на лестнице нравственного развития, – этому причиной не ее натура, а злоупотребление грубой материальной силы мужчины, полуварварское, немного восточное устройство общества и сахарное, аркадское воспитание, которое дается женщине... Но век идет, идеи движутся, и варварство начинает колебаться: женщина уже сознает свои права человеческие и блистательными подвигами доказывает гордому мужчине, что и она так же дочь неба, как и он сын неба... Кому не известны имена Беттины и Рахели{27}, которых глубокие натуры от всякого прикосновения к ним жизни издавали из себя электрические искры откровения тайн духа? Кому не известно имя гениальной Жорж Занд? Недавно в Англии вышла книга мисс Джемсон – «Характеры шекспировских женщин», изумившая ученую и философскую Германию силою и глубиной анализа сокровенной души женщины, верным и мощным постижением величайшего поэта в мире, вдохновенным, поэтическим и в то же время полным мысли и определительности изложением{28}. Недавно вышла в Германии книга «Мифология греков и римлян» – плод глубочайшего изучения древности, книга столь же глубоко философская, сколько и высоко поэтическая: автор этой книги – женщина, Тинетта Гомберг...{29} У нас еще так недавно начали появляться истинно ученые мужчины – следовательно, нам еще рано думать о своих Джемсон и Гомберг; но и наша литература может по справедливости гордиться многими женскими именами (если она уж гордится столь многими мужскими), из которых особенно замечательны – графиня Сара Толстая и неизвестная дама, автор многих превосходных повестей, подписывающаяся Зенеидою Р-вою... Итак, если женщины понимают глубоко Шекспира и Гомера, то я, право, не вижу, почему бы они не могли понимать Державина... А между тем они точно его не понимают и никогда не будут читать, особенно видя, что и мужчины давно уже отказались от этого удовольствия...

Б. – Я понимаю ваш взгляд на Державина, и каков бы он ни был в самом деле, но я уверен, что во многом не могут не согласиться с вами самые ожесточенные поклонники старины. Но после такого взгляда на Державина я уже боюсь предложить вам Фонвизина...

А. – Напрасно: этому писателю я не только всегда дам почетное место на полке моего небогатого русскими книгами шкапа, но и не откажусь подчас и перелистовать и перечесть его, сколько для исторического изучения, столько и для удовольствия. Вместе с Державиным Фонвизин есть полное выражение екатерининского времени. Смешно, когда хотят делать из него поэта и комика; но как писатель он бесценен. Что бы вы ни читали в нем, – комедии ли его, забавное ли и злое послание его к Шумилову{30}, письма ли из-за границы, исповедь ли, вопросы ли – везде видите

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
умного и острого человека, тонкого наблюдателя, живую историю своего времени. Он принадлежит к числу тех писателей, которые, имея значение в своей литературе, не совсем бы утратили его и в переводе на иностранных языках. Что до его поэзии, он невинен в ней. В комедиях его нет ничего идеального, а следовательно, и творческого: характеры дураков в них – верные и ловкие списки с карикатур тогдашней действительности; характеры умных и добродетельных – риторические сентенции, образы без лиц; юмор его комедий довольно легок и мелок: он ищет больше смешного и карикатурного, чем комического и характерного. Но при всем том «Недоросль» и «Бригадир», уже согнанные с театра, никогда не будут изгнаны ни из истории русской литературы, ни из библиотек порядочных людей. Не будучи комедиями в художественном значении, они – прекрасные произведения беллетристической литературы, драгоценные летописи общественности того времени. «Дворянские выборы»^{31} были сколком с комедий Фонвизина и в достоинствах и недостатках, но скальвать и избобретать две вещи разные; притом же все хорошо в свое время, – и честь и слава уму и таланту Фонвизина, что он угадал, что можно и что нужно было в его время...

Б. – Вот мы с вами и переговорили о целом периоде русской литературы. Конечно, надо согласиться, что немного потратишь времени на прочтение всего, что произвел этот период.

А. – Следующий будет несравненно богаче; только необходимо надо строго определять степень этого богатства, относительную или безусловную ценность частных, из которых состоит его ценность. А то – чего доброго! – вообразим себя такими богачами, что, положась, конечно, на большое и уже прожитое богатство, и не увидим, как придется по миру идти.

Б. – Интересно мне, что вы скажете о Карамзине и Дмитриеве, начавших собою второй период нашей литературы. Вероятно, их еще можно читать и перечитывать?

А. – Прежде всего надо заметить, что Карамзин не ровня Дмитриеву. Дмитриев написал очень небольшую книгу стихов, и надо, чтоб в стихах такой книги было слишком много поэзии, чтоб ее читали в наше время... Но ее не читают уже лет двадцать, а в наше время немногие даже знакомы с ней, и то не лично, а по слухам, по рекомендации учителей словесности и по литературным адрес-календарям, известным под названием «истории русской литературы»...^{32} И Дмитриев в самом деле – примечательное лицо в истории русской литературы. Я очень любил его в детстве и от души благодарен ему за пользу и удовольствие, которые принесли мне его стихотворения в мои детские годы. Впрочем, басни и сказки Дмитриева и теперь еще могут доставлять детям пользу и удовольствие; если же будут для них вредны, то разве со стороны своей негармонической и непоэтической версификации; но его оды и песни теперь не годятся ни для детей, ни для стариков – их время давно прошло! А в свое время они были прекрасны, распространяли в обществе охоту к чтению, приучали публику к благородным наслаждениям ума, доставляли ей возвышенное удовольствие. Но это все-таки не мешало Дмитриеву не быть поэтом, не иметь ни фантазии, ни чувства: они заменялись у него умом и ловкостью. Русская версификация в стихах Дмитриева сделала значительный шаг вперед: в свое время они считались чрезвычайно гладкими и гармоническими. Вообще стихи Дмитриева гораздо лучше стихов Карамзина. Дмитриева можно назвать сотрудником и помощником Карамзина в деле преобразования русского языка и русской литературы: что Карамзин делал в отношении к прозе, то Дмитриев делал в отношении к стихотворству. Но проза тогда была важнее стихов, и потому заслуги Карамзина уничтожают собою заслугу Дмитриева: между ними нет ни сравнения, ни параллели в этом отношении. Карамзин первый родил в обществе потребность чтения, размножил читателей во всех классах общества, создал русскую публику; с него первого должно полагать начало русской литературы не как школьного, «ученого» занятия, но как предмета живого интереса со стороны общества^{33}. Правда, этот живой интерес был еще довольно апатичен, а ограниченное число читателей не могло назваться публикою; но что же и теперь у нас за публика? а между тем теперешняя публика и огромна и образована в сравнении с тою публикою; без той публики не было бы и теперешней. Поэтому дело Карамзина – великий подвиг, вполне достойный того, чтоб наше время обессмертило его монументом. Карамзин явился преобразователем языка и стилистики. В обществе бродили уже новые идеи, для выражения которых не доставало в русском языке ни слов, ни оборотов. Карамзин улегитимировал своим талантом употребление вошедших и входивших в русский язык слов и ввел совершенно новые не только иностранные, но и русские слова, как, например, «промышленность». Карамзина обвиняют в растлении чужезванными словами и оборотами, преимущественно галлицизмами, девственности русского языка. Но эти

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru

люди забывают, что тогда не было никакого русского языка и что латино-славянская проза Ломоносова и Хераскова гораздо меньше была русским языком, чем проза не только Карамзина, но и самых неловких его подражателей, отчаянных галломанов. Карамзин начал писать языком общества, тем самым, которым все говорили; но, разумеется, идеализировал его, потому что письменный язык – искусственный, как бы ни был он естествен, прост, жив и свободен. Карамзин явился в самое время с своею реформою: тогда все чувствовали ее необходимость, – большинство бессознательно, избранники сознательно: доказательством первого служит общий восторг, с каким были приняты первые опыты Карамзина; а доказательством второго может служить Макаров, современник Карамзина, талантливый литератор, в одно время с Карамзиным, и совершенно независимо от него, писавший такую же прекрасную прозою. Несмотря на то, что дух времени был за Карамзина, знаменитому реформатору нужна была большая сила характера или большая расчетливость, чтоб не смущаться толками и воплями литературных староверов. В самом деле, потребна была большая решимость, чтоб из мира натянутой эпопеи вроде «Кадма и Гармонии»{34} ниспуститься в мир любви и горестей какой-нибудь «Бедной Лизы», которая не имела чести быть даже простою дворянкою. В лице Карамзина русская литература в первый раз сошла на землю с ходуль, на которые поставил, ее Ломоносов. Конечно, в «Бедной Лизе» и других чувствительных повестях не было ни следа, ни признака общечеловеческих интересов; но в них есть интересы просто человеческие – интересы сердца и души. В повестях Карамзина русская публика в первый раз увидела на русском языке имена любви, дружбы, радости, разлуки и пр. не как пустые, отвлеченные понятия и риторические фигуры, но как слова, находящие себе отзыв в душе читателя. Так как это было в первый раз, все эти чувства, нежные до слабости, умеренные до бледной бесцветности, сладкие до приторности, были приняты за глубокое проникновение в духовную натуру человека. Карамзин застал XVIII век на его исходе и взял от него только пастушескую сладость чувств, мадригальную силу страстей. И хорошо, что это случилось так, а не иначе: если бы его сочинения были выражением более глубокого содержания или хоть какого-нибудь содержания, – они плодотворно действовали бы на немногие благодатные натуры; масса не заметила бы их, и Карамзин не создал бы публики, не приготовил бы возможности существования русской литературы. Чувство и чувствительность – не одно и то же: можно быть чувствительным, не имея чувства; но нельзя не быть чувствительным, будучи человеком с чувством. Чувствительность ниже чувства, потому что она более зависит от организации, тогда как чувство более относится к духу. Чувствительность, раздражительная, нежная, слезливая, приторная, есть признак или слабой и мелкой, или рассеянной натуры: такая чувствительность очень хорошо выражается словом «сентиментальность». Однако ж, будучи не совсем завидным качеством, и сентиментальность лучше одеревенелого состояния в грубой коре животной естественности, – и потому в массе тогдашнего общества прежде всего должно было пробудить сентиментальность, как первый выход из одеревенелости. Европейская сентиментальность, составлявшая одну из задних сторон XVIII века и привитая Карамзиным к русской литературе, была смягчающим средством для современного ему общества, мало знакомого с грамотою. Многие нападают на жидкость содержания в «Письмах русского путешественника»: я так не вижу в них ровно никакого содержания и потому самому уважаю их. Если бы Карамзин сделал из них верную картину нравственного состояния Европы в то время, а не знакомил бы с одними внешностями европейской цивилизации и дорожными случайностями, – его путешествие почти ни на кого не подействовало бы. Карамзин в своих письмах везде обнаруживает симпатию к реформе Петра и антипатию к длиннородой старине: чувство верное, но мотивы его не довольно глубоки! Для Карамзина европеизм состоял в одних удобствах образованной жизни: больше он ничего не предвидел в этом величайшем вопросе, в котором заключается вся судьба человечества. Но потому-то путешествие Карамзина и было так понятно для публики, так восхитило ее и произвело такое сильное и такое благодетельное влияние на образ мыслей тогдашнего общества. Вот, по моему мнению, как должно смотреть на Карамзина. Едва ли кто больше его принес пользы русской литературе (заметьте: не поэзии, не искусству, не науке, – а литературе) и едва ли кто менее может быть читаем в наше время, как он. Державина нельзя читать, но – должно изучать; о сочинениях Карамзина нельзя сказать и этого. Чуждые всякого содержания, они не могут быть переведены ни на какой европейский язык: что бышла в них Европа, из чего бы поняла она в них, что он – великий писатель?..{35} Чуждые нашему времени по форме, то есть по самому языку своему, составляющему торжество классной стилистики, – кем они будут читаться в наше время, если не людьми, для которых «Бедная Лиза» может быть первою прочитанною ими повестью? Между тем без Карамзина история нашей литературы не имеет смысла; имя его велико, заслуги бессмертны, но творения его, как важные и необходимые только для современной ему эпохи, дошед до своей апогеи, обвитые лаврами победы, безмолвно и бестревожно

Б. – Но вы говорите только о мелких трудах Карамзина; а ведь он написал «Историю государства Российского»...

А. – Не написал, а только хотел написать, но не успел кончить и предисловия. Государство российское началось с творца его – Петра Великого, до появления которого оно было младенец, хотя и младенец Алкид, душивший змей в колыбели;{36} но кто же пишет историю младенца! О младенчестве великого человека упоминается, и то мимоходом, только в предисловии или введении в его историю. Содержание истории составляет таинственная психея{37} народа, дающая чувствовать свое животворное присутствие во внешних событиях; но события сами по себе еще не составляют истории, как бы красно ни были они рассказаны. Педанты нападали на Карамзина за промахи против летописей, за мелочные ошибки в фактах: нелепое обвинение!{38} Ум цепенеет перед огромностью подвига, совершенного Карамзиным: он писал историю, он же и разрабатывал решительно нетронутые материалы для нее. Что было сделано до него по части исторической критики документов? – Ничего: Шлецер и другие были заняты преимущественно вопросом о происхождении Руси, который и теперь еще не решен. Даже текст Нестора{39} и теперь еще не восстановлен и не очищен; что сделал для него Шлецер, тем и теперь еще пробавляются наши «ученые»{40}. Итак, Карамзин работал за десятерых, – и его примечания к «Истории государства Российского» едва ли еще не драгоценнее самого текста... И при таком труде нападать на мелкие фактические ошибки! Не в них, а в идее все дело; и вот с этой-то стороны еще никто и не взглянул на великое творение Карамзина. Правда, некоторые очень основательно упрекали Карамзина, что он был незнаком с идеями Гизо, Тьерри, Баранта и других, после него явившихся историков;{41} но я, право, не вижу никакого отношения русской истории к истории образования европейских государств. У нас даже написано по этим идеям начало «Истории русского народа»;{42} но уже самое заглавие этой истории, или заглавие начала этой истории, показывает ее внутреннее достоинство, равно как и то, как далеко обогнала она в идеях историю Карамзина: там государство, которое только готовилось быть, но которого еще не было; а тут народ, который не сознавал еще своего существования. Из баснословного периода Руси Карамзин сделал эпическую поэму в духе XVIII века и то, чего недостало бы на десять страничек, растянул на томы. Уставши от бесплодного описания периода междоусобий и ужасов татарщины, он думал отдохнуть, принимаясь за 6-й том. «Отселе, – говорит он, – история наша приемлет достоинство истинно государственной»;{43} но кому, даже и прежде Карамзина, не только после его, не было известно, что слова «патриархальность» и «государственность» не одно и то же? Что же касается до нас, живущих после Карамзина, – мы читали на этот счет превосходное политическое сочинение подьячего XVII века, Кошихина{44}, и потому уже не можем довольствоваться понятием Карамзина о «государственности». Нечего уже говорить о том, что Карамзин неверно смотрел на Грозного{45} и на другие исторические лица. Но если наше время все это может понимать вернее Карамзина, этим оно обязано все-таки Карамзину же, потому что без его истории мы не имели бы никаких данных для суждений. До сих пор ни одна попытка написать историю России не только не помрачила великого творения Карамзина, но даже и не заслужила чести быть упоминаемой при нем... И мы до тех пор не будем иметь настоящей истории России, пока история Карамзина не перестанет быть читаемой, а ее еще долго-долго будут читать... Что же касается до меня собственно, – я прочел уже ее, и даже не один раз: и потому теперь она не может увеличить моей «библиотеки для чтения»{46} (не для справок), то есть того, что я называю литературой и ответом на вопрос: «Да где ж они? – давайте их!»

Б. – Я вам упомянул бы о Крылове; но ведь вы и его читали...

А. – И никогда не перестану читать. Собрание его басен есть капитальная книга русской литературы. Это наш единственный баснописец: по крайней мере других я не знаю, да и знать не хочу, что бы мне ни говорили о Хемницере и Дмитриеве... Достоинство басен Крылова безусловно и не зависит ни от времени, ни от моды. Число читателей на Руси прогрессивно умножается и будет умножаться год от году, в бесконечность. Место, которое он должен занимать между другими нашими поэтами, должно быть определено вопросом: какое место занимает басня в кругу прочих родов поэзии? Решение этого вопроса очень не трудно в наше время...

Б. – Озеров...

А. – Очень примечательное лицо в истории русской литературы. Я люблю его

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru особенно за то, что он своими трагедиями так ясно и определительно решил вопрос о псевдоклассической драме... Благодаря ему теперь нечего и спорить об этом предмете: не делайте возражений, а только попросите прочесть или посмотреть на театре «Эдипа в Афинах», «Фингала» или «Поликсену» (о «Донском» уже никто не будет говорить – все равно, как о «Хореве»{47})... Род драмы, в котором упражнялся Озеров, уже сам по себе есть отрицание всякой поэзии, натянутость, неестественность и скука... Но если трагедии Озерова будете рассматривать и относительно, – то и тогда увидите в них, конечно, большой успех, но только успех вкуса и языка, а не поэзии, не искусства, и притом успех только сравнительно с трагедиями Сумарокова и Княжнина. В трагедиях Озерова нет глубокого чувства, и вообще в них больше чувствительности, чем какого-нибудь чувства, а пафос заменен или раздражительностью, или высокопарностью. Озеров по преимуществу принадлежит к карамзинской школе: он усвоил себе все ее элементы – и расплывающуюся, слезливую раздражительность чувствительности, и искусственную восторженность, занятую им у его французских образцов. Впрочем, карамзинская школа, в лице Озерова, сделала большой шаг вперед: в чувствительности Озерова больше силы, упругости и жизни; это что-то среднее между чувствительностью и чувством, как бы переход от чувствительности к чувству. Вообще, громкая слава и восторг современников были справедливыми, вполне заслуженною данью дарованиям Озерова{48}, и история русской литературы всегда даст ему почетное место на своих страницах, хоть его никто уже и не читает и не будет читать, кроме людей, исторически изучающих литературу: для них Озеров всегда останется интересным явлением.

Б. – Ваше мнение об Озерове ново и оригинально, – и я думаю...

А. – Напротив, мое мнение об Озерове и не ново и не оригинально: все так думают о нем, но не все так говорят. В нашей критике, и особенно в наших учебниках, заметно владычество общих мест, литературное низкопоклонство живым и мертвым, лицемерство в суждениях. Думают и знают одно, – а говорят другое. Иной господин ни разу не прочел, например, Ломоносова и помнит из него разве знаменитую строфу: «Науки юношей питают»{49}, которую невольно заучил в детстве, а начнет писать о Ломоносове – так и посыплются у него слова: русский Пиндар, высокое парение, торжественность, сила и пр. и пр. Так повторяются у нас до сих пор пустые фразы и о Державине: потомок Багрима, северный бард, певец Фелицы, алмазы, яхонты, сапфиры и т. п.{50}. Впрочем, если наша публика, вместо критики, часто читает или похвальные слова, или плоскую брань, – в этом отчасти она сама виновата: скажите хоть слово против «знаменитого» писателя, которого, впрочем, вы сами высоко цените, – тотчас: «Ах, какое неуважение! помилуйте; оно, конечно, правда, но как это можно, и к чему это?..» У нас уж так привыкли смотреть на критику: коли хвалить, так хвали; коли бранить, так только держись! Тут поневоле иной раз припомнишь стих Крылова: «Да, спрашивай ты толку у зверей»...{51} Главная причина этому – детскость образования: никто не хочет мыслить, а все только хотят читать. Требуют, чтоб критик не определил достоинство писателя, а расхвалил или разбранил его, и если статья состоит не из одних похвал, если автор не превозносится в ней безусловно, говорят: «Разругали»... Многим вы никак не растолкуете, что от противоположности суждений об авторе автор не делается другим, все остается тем же, чем есть на самом деле, но что только из противоположности суждений возможен вывод правильного и истинного суждения об авторе. Современники смотрят на автора так – потомки иначе: это еще не всегда значит, чтоб они противоречили друг другу, но часто значит только, что современники видели и ценили в авторе одну сторону, исключительно удовлетворившую требованиям их времени; а потомки, преисполненные новых потребностей, сообразно с духом их времени, холодны и равнодушны к стороне автора, восхищавшей его современников. Но эта холодность, это равнодушие нисколько не уничтожают заслуг автора и его исторического достоинства: его не будут читать, но всегда будут чествовать его имя, как представителя эпохи, как лицо историческое. На что ж тут сердиться и чем обижаться? Детство и детство – больше ничего! А право, пора бы уже перестать играть в литературу, пора бы смотреть на нее посерьезнее... Конечно, тогда многие «бессмертные» совсем умрут, великие сделаются только знаменитыми или замечательными, знаменитые – ничтожными; много сокровищ обратится в хлам; но зато истинно прекрасное вступит в свои права, а пересыпанье из пустого в порожнее риторическими фразами и общими местами – занятие, конечно, безвредное и невинное, но пустое и пошлое – заменится суждением и мышлением... Но для этого необходима терпимость к мнениям, необходим простор для убеждений. Всякий судит, как может и как умеет; ошибка – не преступление, и несправедливое мнение – не обида автору. Дело в том, чтоб

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
мнение было искренно и независимо от внешних расчетов, касалось не лиц, а только их сочинений. Грустно подумать, что все, мною теперь сказанное, старо только в книгах, а на деле очень и очень ново, так что долго еще будет повторяться с разными варьяциями. Правда, у нас все, и говорящие и пишущие, повторяют это, но как общие места, не имеющие никакого отношения к делу, – и только коснитесь авторитета умершего автора – шум и толки: «да что! да как! да помилуйте!»; а о живом и не заикайтесь... Может быть, он и сам не увидит ничего оскорбительного для себя в вашем отзыве; но у него есть толпа почитателей, а толпа – всегда толпа: она не говорит, а кричит, не доказывает, а вопиет...

Б. – Все это правда; но я думаю, что тут надо винить не публику, а критиков, которые или не могут, или не смеют «свое суждение иметь»{52} и отделяются повторением фраз, уже около ста лет всем надоедающих... Но ведь мы с вами говорим, а не пишем, так почему же вам не сказать, а мне не послушать искреннего и – каково бы оно ни было – своего, а не чужого мнения, например, о Жуковском и Батюшкове?..

А. – Вы не напрасно соединили эти два имени. Почти в одно время явились они, как две яркие звезды, на горизонте нашей литературы и дружно совершали по нем свое, полное тихого света, шествие, пока горестная судьба не остановила одну из них на полудороге и не велела другой продолжать уже одинокий путь по новым и чуждым для нее пространствам, при ослепительном свете вновь взошедшего солнца... Жуковский и Батюшков – оба поэты и оба прозаики; оба они двинули вперед и версификацию и прозу русскую. Проза их богаче содержанием прозы Карамзина, а оттого кажется лучше и по форме своей, которая в сущности не более, как усовершенствованная стилистика Карамзина, чуждая своеобразного, национального колорита, и больше искусственная и щеголеватая, чем живая и сросшаяся с своим содержанием, как, например, проза Пушкина и других даровитых писателей последнего времени. Ученики победили учителя: проза Жуковского и Батюшкова единодушно была признана «образцового», и все силились подражать ей... В наше время уже никому не придет в голову потратить столько труда, хлопот, времени, искусства и прекрасной прозы на повесть вроде «Марьиной рожи» или «Предславы и Добрыни»{53}, и если бы кто написал их в наше время, никто бы не стал читать... Это оттого, что в наше время не дорожат одним языком, а требуют «слога», разумея под этим словом живую, органическую ответственность формы с содержанием, и наоборот, умение выразить мысль тем словом, тем оборотом, какие требуются сущностью самой мысли, для которой всякое другое слово и другой оборот были бы неопределенны и неясны. Тогда «стилистика» годилась не для одних этюдов, но считалась искусством, а этюды были не исключительным упражнением учеников, но и делом мастеров... Это очень естественно: чтоб выучиться писать, надо сперва овладеть формой; грамматика всегда предшествует логике. Наша литература была до Пушкина ученицею, особенно в прозе: вот причина исключительного владычества стилистики, убитой Пушкиным и уступившей свое место «слогу». Со стороны поэзии заслуги Жуковского и Батюшкова были несравненно выше и действительнее, чем со стороны{54} прозы. Но здесь оба поэта совершенно расходятся и в направлении, и в сущности, и в результатах своей поэтической деятельности: Жуковского нельзя назвать «поэтом» в смысле свободной, творческой натуры, которая в разнообразных и роскошных художественных созданиях исчерпывает самобытную, ей собственно сродную и принадлежащую сферу мирозерцания. Оригинальных произведений. Жуковского немного, да и те нейдут ни в какое сравнение с его же собственными переводами из немецких и английских поэтов. Между его оригинальными произведениями есть небольшие (величина в лирических произведениях часто есть признак отсутствия поэзии и присутствия реторики, – отсутствия мысли и присутствия рассуждений), проникнутые чувством, пленяющие мелодиею звуков, красотой стихов, звучностью и яркостью языка, но чуждые художественной формы. Самое чувство их однообразно-уныло и нередко походит на чувствительность. Что же касается до его больших лирических произведений, как-то: многочисленных посланий, «Певца во стане русских воинов», «Певца на Кремле», «Песни барда над гробом славян-победителей», «Отчета о луне», «Двенадцати спящих дев», «Вадима» и пр., их можно считать образцами изящной реторики и стихотворного красноречия... В них чувство пробуждается редко – именно, когда поэт из чуждой ему сферы торжественной поэзии входит в свой элемент и сладкими стихами говорит о красе-девице, тоскующей над гробом милого, где для нее и зелень ярче, и цветы ароматнее, и небо светлее... Если б я достоверно знал, что «Эолова арфа», «Ахилл» и «Теон и Эсхин» – не переводы, а оригинальные произведения, я сказал бы, что у Жуковского есть три превосходные оригинальные пьесы;{55} но все-таки не назвал бы их произведениями поэта в том значении, о котором сейчас говорил, потому что три пьесы, каковы бы они ни были, еще не могут составить собою значительного

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru цикла поэтической деятельности. Оригинальные произведения Жуковского представляют собою великий факт и в истории нашей литературы, и в истории эстетического и нравственного развития нашего общества; их влияние на литературу и публику было безмерно велико и безмерно благотельно. В них, еще в первый раз, русские стихи явились не только благозвучными и поэтическими по отделке, но и с содержанием. Они шли из сердца к сердцу; они говорили не о ярком блеске иллюминаций, не о громе побед, а о таинствах сердца, о таинствах внутреннего мира души... Они исполнены были тихой грусти, кроткой меланхолии, – а это элементы, без которых нет поэзии. Правда, в стихах Жуковского то, что бы должно оставаться только элементом, было, напротив, и альфой и омегой его поэзии; но таково было требование времени, таков был ход исторического развития нашей литературы: Жуковский, в этом случае, думая служить искусству, служил обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство и приготавливая его к приятию истинной поэзии. Державина тогда превозносили, но стихотворения его не были настольного книгою у молодого человека и не прятались под изголовье красавицы. Стихи Карамзина и Дмитриева удовлетворяли не всех, и ими восхищались только записные любители литературы, а прочие превозносили их более из приличия. От торжественных од у публики уже заложило уши, и она сделалась глуха для них. Все ждали чего-то нового, а между тем к восприятию истинной поэзии, в смысле искусства, еще далеко не были готовы. Тогда явился Жуковский с своими унылыми и задумчивыми стихотворениями, которые все сделали свое дело, принесли свою пользу. Кто теперь будет читать или, читая, восхищаться такими «пьесами, как «Над прозрачными водами» или «Мой друг, хранитель ангел мой»?{56} А тогда!.. Да, я еще сам помню, что такое были они для меня, после стихов Державина и его подражателей... Здесь я должен сделать оговорку, чтоб вы меня не поняли ложно и не приняли моих слов за унижение Державина в пользу Жуковского. По элементам поэзии и национальности, Державин – колосс перед оригинальными произведениями Жуковского, а между тем действие произведений Жуковского на душу читателя всегда, а в то время особенно, было сильнее, действительнее и благотворнее. Причина не в том, что стихи Жуковского, как стихи, гораздо лучше стихов Державина: это преимущество времени, а не таланта; нет, перевес на стороне стихов Жуковского заключается в их содержании. В самом деле, одна какая-нибудь картина Вадима, сидящего с киевскою княжною в пещере, во время бури{57}, стоит тысячи торжественных од вроде «На взятие Измаила»... В поэзии Державина нередко просвечивают чисто русские, чисто национальные элементы: одно уже это ставит его, как поэта, несравненно выше Жуковского; я и стараюсь особенно указать вам не на безусловное, не на художественное, а более на историческое достоинство оригинальных стихотворений Жуковского, как на главную причину важного и сильного влияния даже тех из них, которые слабы в поэтическом отношении и теперь совсем забыты...

Б. – Но ведь вы же сами приписываете некоторым из них, как, например, «Эоловой арфе», «Ахиллу», «Теону и Эсхину», безотносительное поэтическое достоинство?..

А. – И однако ж все-таки не почитаю их оригинальными пьесами, но отношу к разряду переводных, точно так же, как у Пушкина и переводные пьесы отношу к оригинальным... В этом-то и достоинство, и важность, и великая заслуга Жуковского. До него наша поэзия лишена была всякого содержания, потому что наша юная, только что зарождавшаяся гражданственность не могла собственной самодеятельностью национального духа выработать какое-либо общечеловеческое содержание для поэзии: элементы нашей поэзии мы должны были взять в Европе и передать их на свою почву. Этот великий подвиг совершен Жуковским. В его натуре есть какая-то родственность с музами Германии и Альбиона, – и ему, при таком высоком таланте, легко было, в превосходных переводах, усвоить нам многие из их прекраснейших песен. Мы еще в детстве, не имея определенного понятия о том, что перевод, что оригинальное произведение, заучиваем их, как сочинения Жуковского. Это сродняет нас с немецкою и английскою поэзиею, и мы потом входим в их святилище уже не как профаны, но как уже рожденные посвященными... Оттого-то в России так рано сделались возможными и переводы с этих языков, и изучения этих литератур в их собственных звуках; тогда как, например, для французов и теперь еще закрыто печатью тайны святилище, особенно германской поэзии. Через это же мы пришли в состояние усвоить себе германское созерцание искусства, германскую критику, германское мышление. И все это сделал Жуковский одними своими переводами! Он ввел к нам романтизм, без элементов которого в наше время невозможна никакая поэзия. Пушкин, при первом своем появлении, был оглашен романтиком. Поборники новизны называли его так в похвалу, староверы – в порицание, но ни те, ни другие не подозревали в Жуковском представителе истинного романтизма. Причина очевидна: романтизм полагали в форме, а не в содержании. Правда, романтическое содержание

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru не может укладываться в определенные по самому объему и соразмерные формы древней поэзии; оно требует простора и часто, так сказать, нарушает в свою пользу права формы. Но не в этом сущность романтизма. Романтизм – это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к «бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов... Почва романтизма не история, не жизнь действительная, не природа и не внешний мир, а таинственная лаборатория груди человеческой, где незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где неумолкаемо раздаются вопросы о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания... Обаятелен этот фантастический, запертый в самом себе мир; средние века жили в нем безвыходно; наше время, выступившее из него же, не отрешилось от него, но расширило его новыми элементами и уравнесило их, помирило его и с историей и с практической деятельностью. Горе тому, кто, соблазненный обаянием этого внутреннего мира души, закрывает глаза на внешний мир и уйдет туда, в глубь себя, чтоб питаться блаженством страдания, лелеять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!.. Люди с сильными натурами, погружаясь в эту пучину внутреннего созерцания, могут делаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тенями в чуждом и страшном для них мире действительности. Люди недалекие и неглубокие делают пиетистами, мистиками и моралистами; они толкуют и понимают себя и все вне их находящееся задом наперед и вверх ногами. Но горе и тому, кто, увлеченный одной внешностью, делается и сам внешним человеком: нет ему верного убежища в самом себе от бурь жизни; нет в нем ни глубоких нравственных начал, ни верного взгляда на действительность; внутри его и холодно, и сухо, и жестоко; он не может любить; он гражданин, он воин, он купец, он все, что хотите, но он никогда – не «человек», и вы никогда ему не вверитесь, не будете его другом, не откроете ему никакого внутреннего человеческого чувства, боясь опрофанировать это чувство... Итак, оба эти мира, внутренний и внешний – крайности; равно опасно предаваться одной из них исключительно; но оба эти мира равно нуждаются один в другом, и в возможном проникновении одного другим заключается действительное совершенство человека. Мир внешний встречает нас при самом рождении нашем и уловляет нас: чтоб избавиться от его ложных и нечистых обаяний, прежде всего нужно развить в себе романтические элементы. Пусть они возобладают над нашим духом, возбудят в нас восторженность и фанатизм: в сильной натуре, одаренной тактом действительности, они уравновесятся в свое время с другою стороною нашего духа, зовущою их в мир истории и действительности; что же до натур односторонних, исключительных или слабых, им везде грозит равная опасность – и во внутреннем, и во внешнем мире. Итак, развитие романтических элементов есть первое условие нашей человечности. И вот великая заслуга Жуковского! Трепет объемлет душу при мысли о том, из какого ограниченного и пустого мира поэзии в какой бесконечный и полный мир ввел он нашу литературу; каким содержанием обогатил и оплодотворил он ее посредством своих переводов!.. Трагедии Озерова – и «Орлеанская дева» Шиллера, анакреонтические стихотворения Державина, чувствительные песни и романсы Карамзина, Дмитриева, Капниста, Нелединского-Мелецкого – и «Песня Миньоны», «Голос с того света», «Утешение в слезах», «Горная дорога», «Мечты», «Элизиум», «Элегия на кончину королевы Виртембергской», «Сельское кладбище», «Победитель», «Три путника», «Теон и Эсхин», «Старый рыцарь» и проч.; торжественные оды – и такие баллады, как «Рыцарь Тогенбург», «Ивиковы журавли», «Лесной царь», «Кассандра», «Граф Габсбургский», «Узник», «Эолова арфа», «Ахилл», «Торжество победителей», «Жалобы Цереры», «Кубок», «Замок Смальгольм»!.. А там еще остаются переводы: «Шильонский узник», «Пери и ангел», сельские стихотворения. «Ундина» – эта благоуханная, мелодическая и фантастическая повесть сердца, это оригинально-переводное творение Жуковского, лучше всего поясняет, почему его не хотят называть переводчиком, а смотрят на него, как на самостоятельного поэта. Действительно, Жуковского нельзя назвать собственно переводчиком: в выборе пьес для перевода он руководствовался не одним безотчетным влечением, но как будто началом; он везде искал своего и, находя, переводил; все переводы его носят на себе какой-то общий отпечаток, все они образуют собою какой-то особенный мир поэзии – поэзии Жуковского. Самые оригинальные произведения – как будто переводы, а переводы – как будто оригинальные произведения. Он не случайно перевел «Орлеанскую деву», а не «Дон Карлоса», не «Валленштейна», не «Вильгельма Телля»: историческая сфера – не его сфера; ему родственнее этот мир чудес внутреннего духа, ему более по душе вдохновенная таинственным дубом героиня... Да, велика, неизмеримо велика заслуга Жуковского русской литературе, русскому обществу! Это не временная, не относительная заслуга: многие, или, лучше сказать, большая часть его переводов будут вечными памятниками его огромного таланта, неувядаемыми цветами русской литературы. Поколение от поколения будет воспитываться ими на служение духу

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru жизни... Я не умею ничего лучше представить себе его переводов: «Торжество победителей» и «Жалобы Цереры»; если б Жуковский перевел только их – и тогда бы он составил себе имя в нашей литературе. Если между его переводами есть слабые – причина в неудачном выборе, а не в недостатке таланта. Таковы: «Королева Урака», «Доника»{58}, отрывки из «Камозэнса» и т. п. Но и его неудачные пьесы, как оригинальные, так и переводные, одни уже сделали свое дело, другие еще будут его делать: их содержание для неразвитого еще эстетического вкуса всегда будет заменять недостаток формы. Об образцовых переводах его я уже все сказал, что хотел сказать; о полном же цикле его поэзии заключаю свое суждение стихами Пушкина:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль;
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость{59}.

Б. – Я, право, не вижу, почему бы ваше суждение о Жуковском могло кому-нибудь показаться резким или оскорбительно несправедливым... Разве потому, что оно нисколько не похоже на то, что толковали о Жуковском наши Аристархи, особенно «ученые»...{60} Мне теперь особенно интересно услышать ваше мнение о Батюшкове...

А. – Батюшков более поэт, чем Жуковский; Батюшков был одарен от природы художественными силами. В стихе его есть упругость и пластика; о гармонии нечего и говорить: до Пушкина у нас не было поэта с стихом столь гармоническим. Батюшков сочувствовал древнему миру; в натуре его были элементы эллинского духа. И между тем он прошел почти незамеченным явлением, тогда как Жуковского знала наизусть вся Россия: причина – недостаток, если не отсутствие содержания в поэзии Батюшкова. Родиною его музы должна была быть Эллада, а посредником между его музой и гением Эллады – Германия; и между тем талант Батюшкова развился на бесплодной для искусства почве французской литературы XVIII века: он не почитал для себя унижением переводить и подражать даже какому-нибудь сладенькому Парни. Итальянская поэзия тоже не могла быть ему особенно полезною и скорее была вредна. Одно из лучших его произведений – «Элегия на развалинах замка в Швеции» – внушено ему диким гением мрачного севера; антологические стихотворения – эти драгоценные брильянты в его поэтическом венце, подарены ему гением родной ему Эллады. Все прочее занимает у него середину между скандинавскою элегиею и антологическими стихотворениями, и потому – все это как-то нерешительно, более сверкает превосходными частностями, красотою пластически художественной формы, но не целым, которое, по недостатку содержания, не могло являться в художественной замкнутости и оконченности. Батюшков явился в такое время нашей литературы, когда ни у кого не было и предчувствия о том, что такое искусство со стороны формы. Поэтому он заботился больше о гладкости и правильности того, что называли тогда «слогом», и мало заботился о виртуозности своего художественного резца, так что его пластические стихи были бессознательным результатом его художественной природы, – и вот почему в его стихотворениях так много неточных выражений, прозаических стихов, а иногда он не чужд и растянутости и реторики. Батюшков сам чувствовал недостаток в содержании для своей поэзии и потому переходил из крайности в крайность: от светлого, поэтического эпикуреизма к какому-то строгому и прозаическому мистицизму. Поэзия его всегда нерешительна, всегда что-то хочет сказать и как будто не находит слов. Впрочем, чтоб сделать верную и полную оценку Батюшкову, надо много говорить, надо беспрестанно цитовать его стихи. Батюшков не принадлежит к числу гениальных творческих натур; но талант его до того велик, что, не будь его поэзия лишена почти всего содержания, родился он не перед Пушкиным, а после него, – он был бы одним из замечательных поэтов, которого имя было бы известно не в одной России.

Б. – Да что же вы разумеете под словом «содержание», которое служит основанием всех ваших суждений о поэзии и поэтах?

А. – Я не берусь вам определять философски, что такое «содержание» в жизни, в истории, в искусстве, в науке, но охарактеризую его вам общими признаками и объясню примерами, взятыми из сферы искусства. Содержание в искусстве не всегда то, что можно с первого взгляда выговорить и определить; оно не есть воззрение, или определенный взгляд на жизнь, не начало или система каких-либо верований и убеждений, род философской школы или политической котерии; содержание есть нечто высшее, из чего вытекают все верования, убеждения и начала; содержание есть мирозерцание поэта, его личное ощущение собственного пребывания в лоне мира и присутствие мира во внутреннем святилище его духа. Когда вы читаете поэта без

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru содержания, но обладающего большим талантом, вы чувствуете, что вас что-то растрогало, возбудило в вас стремление к чему-то, повергло вас в какое-то неопределенное состояние, но не удовлетворило, не наполнило ничем; здесь самое наслаждение – только раздражение, а не удовлетворение. Напротив, когда вы читаете поэтические произведения, проникнутые глубоким содержанием, вы чувствуете, что стремитесь к чему-нибудь определенному, наслаждаетесь чем-нибудь положительным, что вы прияти в себя новую силу, что вашего существования прибавилось, что вы чем-то преисполнились. Тогда вы страдаете страданием вашего поэта, блаженствуете его блаженством, потому что в его страдании или его блаженстве узнаете общечеловеческую скорбь или радость, душу века, интерес времени. Ваш поэт покоряет вас, заставляет видеть все в том колорите, в каком сам все видит. Такое влияние производят на душу читателя великие поэты, каковы, например, Байрон, Шиллер, Гете. Их нельзя читать всех вдруг, но каждый из них поочередно овладевает целую часть вашей жизни и делает вас на то время байронистом, – шиллеристом, гетистом. У нас вообще содержание понимают только внешним образом, как «сюжет» сочинения, не подозревая, что содержание есть душа, жизнь и сюжет этого сюжета. И потому, если дело идет особенно о романе или повести, то смотрят только на полноту происшествий, на сложность завязки и искусство развязки. С этой точки зрения «Эвелина де Вальероль» г. Кукольника, конечно, будет романом с содержанием, потому что и в целый день не перескажешь всех «приключений», обретающихся в этой сказке; а «Старосветские помещики» Гоголя, где очень просто рассказано, как жил старик со старушкой, как сперва умерла старушка, а потом умер старик с тоски по ней, и где нет ни происшествий, ни завязки, ни развязки, – будет повестью без всякого содержания...

Б. – А! теперь я понимаю, отчего вы мало находите содержания у таких из наших писателей, которые общим мнением признаны великими... Кстати, эпоха литературы, на которой мы остановились, была ознаменована союзами знаменитостей, поэтическими и литературными триумвиратами...{61}

А. – Которые теперь, за давностию, забыты, так что историкам нашего времени надо делать новые... И я первый попытаюсь на это, присоединив к именам Жуковского и Батюшкова имя Гнедича. Этот человек у нас доселе не понят и не оценен, по недостатку в нашем обществе ученого образования. Перевод «Илиады» – эпоха в нашей литературе, и придет время, когда «Илиада» Гнедича будет настольного книгу всякого образованного человека. Это время недалеко, потому что благодаря просвещенному, истинно европейскому стремлению нынешнего Министерства народного просвещения, поставившего изучение древних языков непреложным условием гимназического и университетского курса{62}, – образованность и невежество скоро перестанут быть синонимами, и истинная ученость сделается основой истинной образованности... Без исторического созерцания жизни древних нельзя понимать и их искусства; вот почему «Илиада» никогда не может быть доступна толпе. Без созерцания греческого искусства никакого искусства нельзя понимать, – и потому нечего распространяться о том, как велик подвиг Гнедича, какое бесконечное влияние имеет и будет иметь он на русскую литературу. Дух Гнедича был родствен с гением эллинской поэзии; сам собою, вопреки своему развитию и духу времени, он прозрел в глубокую сущность греческого искусства. Перевод «Илиады», если сравнить с подлинником, есть не более, как

...разыгранный Фрейшиц

Перстами робких учениц{63}, –

но все же «Фрейшиц», а не собственная фантазия, выдаваемая за «Фрейшица»: – а это великое дело! Никакое колоссальное творение искусства не может быть переведено на другой язык так, чтоб, читая перевод, вы не имели нужды читать подлинник; напротив, не читав творения в подлиннике, нельзя иметь точного о нем понятия, как бы ни был превосходен перевод. К «Илиаде» особенно относится эта горькая истина: только греческий язык мог выразить такое греческое содержание, и на всех других языках «Илиада» – засушенное тропическое растение, хотя и сохранившее, по возможности, и блеск своих красок и ароматический запах. Наш Гнедич умел схватить в своем переводе отражение красок и аромата подлинника, умел уловить колорит греческого созерцания и сделать его фоном картины своего перевода. Перевод Гнедича – копия с древней статуи, сделанная даровитым художником нового времени. А это великий подвиг, бессмертная заслуга! Русский язык один из счастливейших языков по своей способности передавать произведения древности. Невежды смеются над славянскими словами и оборотами в переводе Гнедича; но это именно и составляет одно из его существеннейших достоинств. Всякий коренной, самобытный язык в период младенчества народа, в созерцании которого жизнь еще не распалась на поэзию и прозу, но и самая проза жизни

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru опозитизирована, – такой язык, в своем начале, бывает полон слов и оборотов, дышащих какою-то младенческою простотою и высокою поэзиею; со временем эти слова и обороты заменяются другими, более прозаическими, а старые остаются богатым сокровищем для разумного употребления, и наоборот, если их некстати употребляют. Так у нас остались древние поэтические слова: ланиты, очи, уста, перси, рамена, храм, храмина, праг и т. п., заменившиеся прозаическими словами: щеки, глаза, губы, груди, плечи, хоромы, порог и т. п. Конечно, нет ничего смешнее, пошлее и надутее, как употребление педантами и безвкусными рифмотворцами старинных слов там, где это не требуется сущностию дела, например, в переводе Тассова «Освобожденного Иерусалима» и т. п. {64}. Но в переводе «Илиады» наши слова, под пером вдохновенного переводчика, исполненного поэтического такта, – истинное и бесценное сокровище! Замените выражения: «ему покорилась лилейнораменная Гера-богиня», «и осклабился Зевс-громовержец» выражениями: «его послушалась жена», «рассмеялся Зевес», – тогда из высокой поэзии выйдет пошлая проза...

Б. – Однако мы уже так далеко зашли с вами, что, кажется, и не доберемся до Пушкина...

А. – Напротив, мы уже добрались до него...

Б. – Как? – Так неужели Карамзин, Дмитриев, Крылов, Озеров, Жуковский, Батюшков, Гнедич – и все тут?

А. – А кто же еще, думали бы вы? Неужели Николев, Бобров, Долгорукий, Хвостов, Остолопов, Подшивалов, Никольский, Глинки, Шаховской, Воейков, Измайлов, Шаликов, Пушкин (В.), Катенин, Пнин, Буринский, Шатров, Горчаков, Бунина, Крюковской, Лобанов, Ф(Ө)едоров (Б. М.), Кокошкин, Ильин, Иванов и пр.?.. Пора бы уже и перестать беспокоить их почтенные и заслуженные имена нашим журнальным критикам и обозревателям, как оставила в покое забывшая о них публика... Сверх того, не все, что касается до литературы, входит в историю литературы: многое поступает в ведомство статистики литературы, которая занимается всеми книгами и всеми писателями без изъятия, подводя их под числа и итоги, иногда очень интересные и поучительные... Первый опыт такой статистики русской литературы составил Г. Греч, под названием «Опыта краткой истории русской литературы», впрочем, довольно плохой даже и для статистики.

Б. – Но некоторые из них...

А. – Были люди с дарованием, хотите вы сказать? Правда; но их дарования так сильны, что не могли не быть замечены в свое время, и так слабы, что забылись еще прежде, чем кончили они свое поприще. Такие дарования – случайности, а не действительные явления. Действительно только то, что рождается из важных причин и производит важные следствия. Если изучать все случайности, помнить их и говорить о них, – не станет веку человеческого, некогда будет заняться чем-нибудь дельным. Сверх того, написать мимоходом, между службою и картами, две-три песни, журнальную статейку, какую-нибудь сказку, которые бы обратили на автора минутное внимание толпы, еще не значит быть поэтом или даже и литератором...

Б. – Итак, перейдем к Пушкину.

А. – И поговорим о нем как можно меньше, потому что сказать о нем всего не успеешь и в целую жизнь. Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего...

Батюшков уже свершил свое поприще, несчастно прерванное; Жуковский хоть еще и далеко не свершил своего поприща, но результаты его поэтической деятельности уже пустили глубоко свои корни в почву восприимчивого и плодovitого русского духа, – когда ребенок-Пушкин начинал знакомиться с русскою литературою. Жадно читал он все, что застал тогда написанным, от Ломоносова до Жуковского и Батюшкова включительно. И вот он делается усердным и, надо сказать, часто неловким учеником предшествовавших ему корифеев нашей литературы и плохим их подражателем. Стих его не был лучше даже стиха его дяди, В. Пушкина; он пишет послание к красавице, нюхающей табак, и жалеет в нем, зачем он не табак... Усердно печатает он свои детские фантазии в «Российском музее», издававшемся в 1815

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru году. Прочтите лицейские стихотворения Пушкина – и в лучших из них вы увидите только хорошего подражателя. В первом томе изданных им самим стихотворений вы уже не находите ничего дурного, напротив, видите много хорошего; но в пьесах: «Лицинию», «Певец», «Амур и Гименей», «Ш***ву»{65}, «Торжество Вакха», «Разлука», «Дельвигу», «Жуковскому», «Русалка», «Стансы Т***му»{66}, «В***му»{67}, «Кривцову», «Война», «К Овидию», писанных от 1815 до 1822, вы еще видите не Пушкина, еще не самостоятельного поэта, а только даровитого ученика достойных учителей. Все исчисленные мною стихотворения перемешаны с такими, в которых Пушкин является уже Пушкиным, в которых мы видим поэзию, не имеющую ничего общего с прежнею, бывшею до Пушкина, – поэзию, явившуюся вдруг, без всяких предварительных проявлений, подобно Афине-Палладе, вдруг и во всеоружии родившейся из головы Зевса.. В отделе стихотворений, означенных 1823 годом, вы уже не встречаете ничего непущинского, ничего навеянного Пушкину его учителями. Правда, в поэмах его – «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» – видно сильное влияние, но уже других учителей: Пушкин навсегда расквитался с русскою литературою и стал ее учителем.. Трудно охарактеризовать общими чертами великость реформы, произведенной Пушкиным в поэзии, литературе, версификации и языке русском. Между стихом Пушкина и стихом Батюшкова больше расстояния, чем между стихом Батюшкова и стихом Державина. Достоинство пушкинского стиха состоит не в одной легкости – легкость одно из второстепенных качеств его; достоинство этого стиха заключается в его художественности, в этой органической, живой ответственности между содержанием и формой, и наоборот. В этом отношении стих Пушкина можно сравнить с красотой человеческих глаз, оживленных чувством и мыслию: отнимите у них оживляющее их чувство и мысль – они останутся только красивыми, но уже не божественно прекрасными глазами. Теперь многие пишут стихи и гладкие, и гармонические, и легкие; но пушкинский стих напомнила нам только муза Лермонтова.. Поэзия Пушкина полна, насквозь проникнута содержанием, как граненый хрусталь лучом солнечным: у Пушкина нет ни одного стихотворения, которое не вышло бы из жизни и было написано вследствие желания так что-нибудь написать, в чаянии, что авось-де это будет недурно.. Это обстоятельство резко чертою отделяет Пушкина от всех поэтов предшествовавших периодов. Художественная добросовестность Пушкина была до него беспримерным явлением в нашей литературе: он высылал из мира души своей только выношенные, вызревшие поэтические фантазии, которые сами рвались наружу. Этим он совершенно избежал реторики, декламации и общих мест: их следы заметны только разве в его ученических произведениях, о которых я говорил. Следствием глубоко истинного содержания, всегда скрывающегося в произведениях Пушкина, была их строго художественная форма. Каждое его стихотворение есть отдельный мир, замкнутый в самом себе, полный собственных сил, чуждый всяких не свойственных ему элементов, всего постороннего и лишнего, свободно движущийся в своей сфере. Как верна у Пушкина всякая мысль, всякое чувство и всякое ощущение, так верен у него и всякий образ, каждая фраза, каждое слово. Все на своем месте, все полно, ничего недоконченного, темного, неточного, неопределенного. Определенность есть свойство великих поэтов, и Пушкин вполне обладал этим свойством. Ограниченные люди ставили его поэзии в вину, что она все оземляет и овеществляет – обвинение, которое обнаруживает решительное отсутствие эстетического чувства, самое грубое неразумие поэзии!{68} Поэт – соперник творящей природе; подобно ей, он стремится бесплотных духов жизни, реющих в беспредельных пространствах, уловить в прекрасные и полные органически идеальной жизни образы, воплотить небесное в земное и земное просветлить небесным.. Поэт не терпит отвлеченных представлений: творя, он мыслит образами, а всякий образ только тогда и прекрасен, когда определен и вполне доступен созерцанию. – Из русского языка Пушкин сделал чудо. Справедливо сказал Гоголь, что «в Пушкине, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка»{69}. Он ввел в употребление новые слова, старым дал новую жизнь; его эпитет столько же смел, оригинален, как и резко точен, математически определен. Многообъемлемость и многосторонность также принадлежат к числу качеств, которые срослись с поэзиею Пушкина. Грусть у него сменяется шуткою, эпиграммою, тяжелая скорбь неожиданно разрешается освежающим душу юмором. Его нельзя назвать ни поэтом грусти, ни поэтом веселия, ни трагиком, ни комиком исключительно: он все.. Самое простое ощущение звучит у него всеми струнами своими и потому чуждо монотонности; это всегда полный аккорд.. Всего чаще ощущение у Пушкина – диссонанс, разрешающийся в гармонию, и всего реже – простая мелодия.. Трудно было бы определить общее направление поэзии Пушкина; но можно сказать утвердительно, что имя романтика навязано на него не совсем впадет, так же как невпадет отнято оно у Жуковского. Характер чисто романтической поэзии всегда более или менее односторонний и исключительный. Поэзия Пушкина – самый разнообразный мир, где примирены самые разнообразные и противоречащие элементы, где простая и вместе роскошная форма спокойно и равновесно овладела своим

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru многосложным содержанием... Наконец, Пушкин – вполне национальный поэт, заключивший в духе своем все национальные элементы. Это видно не только из тех произведений, где чисто русское содержание выражал он в чисто народной форме и где не имел он себе соперника; но еще более из тех произведений, которые ни по содержанию, ни по форме, кажется, не могут иметь ничего русского. Я не знаю лучшей и определенной характеристики национальности в поэзии, как та, которую сделал Гоголь в этих коротких словах, врезавшихся в моей памяти: «Истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами своего народа; когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами»{70}. Мне кажется, что кроме грусти, как основного мотива пушкинской поэзии, и бодрого мощного выхода из нее не в какое-нибудь тепленькое утешенье, а в ощущение собственной силы, как самой характеристической черты ее, – национальность ее состоит еще во внешнем спокойствии, при внутренней подвижности, в отсутствии одолевающей страстности. У Пушкина диссонанс и драма всегда внутри, а снаружи все спокойно, как будто ничего не случилось, так что грубая, невосприимчивая или неразвитая натура не может тут видеть ни силы, ни борьбы, ни величия... Заметьте, что герои Пушкина никогда не лишают себя жизни, по силе трагической развязки, но остаются жить... Пушкин в этой черте бывает страшно велик... Не бывало еще на Руси такой колоссальной творческой силы, и так национально, так русски проявившейся... Ни один поэт не имел на русскую литературу такого многостороннего, сильного и плодотворного влияния. Пушкин убил на Руси незаконное владычество французского псевдоклассицизма, расширил источники нашей поэзии, обратил ее к национальным элементам жизни, показал бесчисленные новые формы, сдружил ее впервые с русской жизнью и русской современностью, обогатил идеями, пересоздал язык до такой степени, что и безграмотные не могли уже не писать хорошими стихами, если хотели писать.

Б. – Но что вы скажете о Пушкине в сравнении с европейскими поэтами?

А. – Он относится к ним, как Россия к Европе, а европейские поэты к нему – как Европа к России. Пушкин обладал мировой творческой силою; по форме он – соперник всякому поэту в мире; но по содержанию, разумеется, не сравнится ни с одним из мировых поэтов, выразивших собою момент всемирно-исторического развития человечества. И это нисколько не идет к унижению великого гения Пушкина; повторяю, что поэту принадлежит форма, а содержание – истории и действительности его народа. Россия доселе жила внешнею силою; национальное сознание пробудилось в ней не дальше, как с великого 1812-го года... Какому-нибудь Байрону довольно было истории своего отечества, чтоб иметь готовое содержание для своей поэзии, а Пушкину еще оставалась целая Европа, то есть целое человечество. Слова: папа, католицизм, феодализм, вассал, реформация, религиозная война, всемирная торговля и пр. и пр. не могли в слухе Пушкина раздаваться так же, как в слухе Байрона: что для одного было предметом любознательности, то для другого было личным интересом, возбуждавшим все его страсти, все чувства... Самое образование европейских поэтов с детства питает их «поэтическим содержанием»: чего не знал Гете, какою ученостию обладал Шиллер! Байрон в подлиннике читал греческих и латинских писателей! В Европе все так чудно устроено, – одно не мешает другому, например, свет науке, а наука свету; у нас же об этом свете Пушкин говорил с таким отчаянием:

И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!.. {71}

Но здесь не должно упускать из виду важного обстоятельства: смерть застигла Пушкина в поре полного развития необъятных сил его творческого духа, в ту самую минуту, когда он уже начинал уходить от волнующей юную и пылкую натуру внешности и погружаться в бездонную глубь своего внутреннего я, когда он только что перестал пробовать свое перо и только что начинал писать настоящим образом...

Б. – Однако наш разговор грозит быть страшно длинным, если вы хотите говорить о поэтах пушкинской школы...

А. – Если только поэтому, а не почему-нибудь другому, – то он будет очень короток. Время – великий критик: его крылья провевают все дела человеческие, оставляя на току немного зерен и рассеивая по воздуху много шелухи... У нас же, надо заметить, время особенно быстро летит: мы, люди нового поколения, едва перешедшие за роковую черту 30-ти лет, отделяющую юность от мужества, мы, заучившие наизусть первые стихи Пушкина, мы, едва успевавшие следовать, так

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
сказать, по пятам за его быстрым поэтическим бегом, – мы давно уже оплакали его безвременную кончину, а на школу его смотрим уже, как на «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»{72}, любим ее только по отношению к собственному нашему развитию, только по воспоминанию о прекрасном времени нашей жизни, когда всякий новый журнал, всякая новая книжка журнала, альманах, какой-нибудь сбор «мечтаний и звуков»{73} были для нас праздником, тотчас врезывались в память, возбуждали живые восторги, шумные споры... И, если хотите, понятно, что мы в то блаженное время давали Пушкину сподвижников и товарищей, строили триумvirаты и целые школы; но понятно также и то, что теперь, при имени Пушкина, мы не знаем, кого вспомнить, кого назвать...

Б. – Как! столько имен, столько слав...

А. – Но ведь в то время и г. Олин, автор «Корсара» и многих романтических элегий, издатель бесчисленного множества программ несостоявшихся журналов и газет{74}, и г. М. Дмитриев, сочинитель целой книги стихов, и г. Раич, автор десятка плаксивых стихотворений, и г. Трилунный, переводчик и подражатель Байрона, и Ф. Н. Глинка, изобретатель благоухающей нравственностью поэзии{75}, и много еще других – все это были имена и славы, да еще какие?..

Б. – Но я разумею не их, а Баратынского, Козлова, Давыдова (Дениса), Дельвига, Подолинского, Языкова. Помните, бывало, говаривали: Пушкин, Баратынский, Языков?

А. – Да, то есть триумvirат... И точно, названные вами писатели недаром считались даровитыми. В них выразился характер эпохи, теперь уже миновавшей; они завоевали себе место в истории русской литературы. Я не люблю поэм Баратынского: в них больше ума, чем фантазии; но между его лирическими произведениями есть очень замечательные. Мне особенно нравится в них этот характер вдумчивости в жизнь, который свидетельствует о присутствии мысли. Элегия Баратынского «На смерть Гете» – превосходна. Козлов замечателен особенно удачными переводами из Мура; но переводы его из Байрона все слабы. Есть несколько замечательных пьес и между его собственными. У него много души; жаль только, что чувство его часто походит на чувствительность. Поэмы его вообще слабы; из них «Чернец» замечателен по эффекту, который он произвел на публику и который напомнил об эффекте «Бедной Лизы» Карамзина. Элегии Давыдова часто дышат истинною поэзией, и их всегда можно перечест с удовольствием, несмотря на их однообразность. Вообще, в поэзии Давыдова есть какая-то достолюбезная оригинальность, свой собственный характер. Имя Дельвига мне любезно, как друга детства Пушкина. Русские песни Дельвига очень хороши для фортепьяно и пения в комнате, где они удобно могут быть приняты за народно-русские песни. В подражаниях Дельвига древним много внешней истины, но не заметно главного – греческого созерцания жизни... Подолинский был человек с замечательным дарованием: {76} в его мелких стихотворениях и в поэмах много чувства и поэтического мест; но у него никогда не бывало целого, особенно в поэмах, которые бедны содержанием, слабы по концепции, бледны по выполнению... Стихи Языкова блестят всею роскошью внешней поэзии, – и если есть внешняя поэзия, то Языков необыкновенно даровитый поэт. Он много сделал для развития эстетического чувства в обществе: его поэзия была самым сильным противоядием пошлomu морализму и приторной элегической слезливости. Смелыми и резкими словами и оборотами своими Языков много способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии. Правда, его новые слова и фразы почти всегда изысканны, неточны, а нередко и грешат против вкуса; но они всем понравились, а потому и сделали свое дело... Стих Языкова громок, звучен, ярок; но в нем это – чисто внешние достоинства, без всякого отношения к содержанию. Да и что составляет содержание его поэзии? или, лучше сказать, есть ли в ней какое-нибудь содержание? Поэзия, полная содержанием, всегда развивается, идет вперед; поэзия, чуждая всякого содержания, всегда стоит на одном месте, поет одно и то же, одним и тем же голосом. Вначале она может возбуждать фурор; но когда к ней привыкнут, ее уже не читают, а только безусловно хвалят... Проходит пыл, остается дым и чад; поэт начинает писать вялые, холодные и вообще плохие стихи, которых уже никто не почитает стоящими даже порицаний... А мне странно, что вы не упомянули о г. Хомякове: хотя он по таланту и гораздо ниже Языкова, но после Языкова как-то невольно вспоминаешь г. Хомякова. Это не без причины: между ними много общего, именно – внешняя красота стиха, не зависящая от смысла пьесы, и однообразие в манере и предметах песнопений... В самом деле, Языков все пел студентские пиры и студентскую удаль; г. Хомяков символически поет все о чем-то высоком и прекрасном; содержание песен Языкова неподвижно; содержание песен г. Хомякова также неподвижно, потому что это всегда одна и та же отвлеченная мысль, одни и те же громкие слова; оба поэта часто обращаются в своих стихах к России, – и ни

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru у того, ни у другого не сорвалось с пера ни одного русского слова, ни одного русского выражения, на которое отозвалась бы русская душа или в котором отозвалась бы русская душа. Не правда ли, все это очень сходно? Но между тем тут есть и несходство: г. Языков кончает не так, как начал, – он утратил даже свой бойкий, звонкий и разгульный стих; г. Хомяков неизменен: он по-прежнему владеет стихом своим... Причина этой разности та, что для стихов Языкова – каковы бы ни были они – нужен был хоть пыл молодости, если не вдохновение; для стихов же г. Хомякова этого не было нужно...{77}

Б. – Но я не понимаю, что же вы разумеете под школою Пушкина...

А. – Собственно, ее и не было. Пушкин только развязал руки тогдашней молодежи на гладкий, бойкий стих, настроил ее на элегический тон, вместо торжественного, да ввел в моду поэмы, вместо баллад; тайна же его поэзии, и по содержанию, и по форме, для всех оставалась тайною. В его поэзии все видели одну внешнюю, поверхностную сторону, а во внутрь ее и не заглядывали...

Б. – Но в чем же великое влияние Пушкина на русскую литературу, если школа, им созданная, так скоро исчезла, не оставив по себе следа?..

А. – В том именно, что благодаря Пушкину мы скоро оценили эту школу по достоинству... Влияние Пушкина было не на одну минуту; оно окончится только разве с смертью русского языка. Сверх того, странно было бы измерять достоинство поэта рожденною им школою. Мы не знаем, да и знать не хотим, создал ли какую школу, например, Байрон: мы хотим знать только Байрона и судить о нем по нем самом, а не по его школе, если б она и была. Не Пушкин виноват, что вместе с ним не явилось сильных талантов... Притом же влияние великого поэта заметно на других поэтов не в том, что его поэзия отражается в них, а в том, что она возбуждает в них собственные их силы: так солнечный луч, озарив землю, не сообщает ей своей силы, а только возбуждает заключенную в ней силу... У кого есть талант и кто способен понять поэзию Пушкина, принять в себя ее содержание, – тот, конечно, будет писать несравненно лучше, нежели как бы он писал, не зная Пушкина. А многие ли понимают Пушкина?.. Поверьте мне, надо быть выбрану из десяти тысяч, чтоб понимать Пушкина! Ведь это талант своего рода, и талант большой! Вот, например, Веневитинов: хоть и нельзя указать явного влияния Пушкина на его поэзию, но нет сомнения, что он Пушкину обязан больше, чем кто-нибудь. Веневитинов сам собою составил бы школу, если б судьба не пресекла безвременно его прекрасной жизни, обещавшей такое богатое развитие. В его стихах просвечивается действительно идеальное, а не мечтательно идеальное направление; в них видно содержание, которое заключало в себе самостоятельную силу развития; но форма его поэтических произведений, даже самый характер их, не обещали в Веневитинове поэта, – и я уверен, что он скоро оставил бы поэзию для философских созерцаний. На этом поприще многого можно было ожидать от него. Он возбудил к себе сильное участие, даже энтузиазм молодых людей обою пола своими произведениями и в стихах и в прозе: это участие, этот энтузиазм были пророческие... Говоря о поэтах того времени, нельзя не упомянуть о Полежаеве, как поучительном примере необузданной силы без содержания, таланта без образования, вдохновения без вкуса. Эта дикая натура пала жертвою собственной силы, раз не так направленной, – пала жертвою собственного огня, не нашедшего для себя настоящей пищи...

Б. – А Грибоедов?

А. – Он сам по себе; он сам целая школа. Написав несколько посредственных опытов в драматическом роде по французской мерке, он вдруг является с комедиею, для которой едва ли где мог быть образец, не говоря уже о русской литературе. Язык, стих, слог – все оригинально в «Горе от ума». Содержание этой комедии взято из русской жизни; пафос ее – негодование на действительность, запечатленную печатью старины. Верность характеров в ней часто побеждается сатирическим элементом. Полноте ее художественности помешала неопределенность идеи, еще не вполне созревшей в сознании автора: справедливо вооружаясь против бессмысленного обезьянства в подражании всему иностранному, он зовет общество к другой крайности – к «китайскому незнанию иноземцев»{78}. Не поняв, что пустота и ничтожество изображенного им общества происходят от отсутствия в нем всяких убеждений, всякого разумного содержания, он слагает всю вину на смешные бритые подбородки, на фрак с хвостом назад, с выемкою впереди и с восторгом говорит о величавой одежде долгополой старины... Но это показывает только незрелость, молодость таланта Грибоедова: «Горе от ума», несмотря на все свои недостатки,

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru кипит гениальными силами вдохновения и творчества. Грибоедов еще не был в состоянии спокойно владеть такими исполинскими силами. Если бы он успел написать другую комедию, она далеко отставила бы за собою «Горе от ума». Это видно из самого «Горе от ума»: в нем так много речательств за огромное поэтическое развитие... Какая убийственная сила сарказма, какая едкость иронии, какой пафос в лирических излияниях раздраженного чувства; сколько сторон, так тонко подмеченных в обществе; какие типические характеры; какой язык, какой стих – энергический, сжатый, молниеносный, чисто русский! Удивительно ли, что стихи Грибоедова обратились в поговорки и пословицы и разнеслись между образованными людьми по всем концам земли русской! Удивительно ли, что «Горе от ума» еще в рукописи было выучено наизусть целою Россиею!.. Грибоедов наводит мне на душу грустную мысль о трагической судьбе русских поэтов... Батюшков в цвете лет и полноте поэтической деятельности... хуже, чем умер; Грибоедов, Пушкин, Лермонтов погибли безвременно...

. . . иль вся наша

И жизнь не что, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?.. {79}

Б. – Прерываю ваше поэтическое раздумье прозаическим вопросом: говоря о поэтах допушкинской эпохи, вы забыли Мерзлякова, которого русские песни, впрочем, принадлежат к позднешему времени.

А. – Да много ли его русских песен-то? «Среди долины ровный» – не народная, и даже не простонародная, а разве сентиментально-мещанская песня. «Чернобровый, черноглазый» и «Не липочка кудрявая» – прекрасные и выдержанные песни; все другие – с проблесками национальности, но и с «чувствительными» против нее обмолвками. В поэзии Мерзлякова есть чувство, но нет мысли. Теория его – французско-классическая; следовательно, об ней можно и не говорить. Переводы его из древних не изящны: в них не веет жизнью эллинского духа. Мерзляков смотрел на древних сквозь лагарповские очки. Он переводил идиллии г-жи Дезульер и ужасными виршами пересказал на книжном русском языке времен Хераскова «Освобожденный Иерусалим» Талса.

Б. – К кому же мы теперь перейдем от Пушкина и Грибоедова?

А. – К повести и роману. Пресытившись стихами, мы захотели прозы; а пример Вальтера Скотта был очень соблазнителен... Марлинский первый начал писать русские повести. Они были для своего времени то же, что повести Карамзина для той эпохи; разница между ними только та, что одни романтические, другие классические, в простом смысле этих слов. «Юрий Милославский» был первым русским историческим романом {80}. Он явился очень вовремя, когда все требовали русского и русского. Вот причина его необыкновенного успеха. Теперь он – неприятное и бесполезное чтение для детей от 7 до 12 лет включительно и для простого народа. Жаль, что он не издан в числе нескольких десятков тысяч экземпляров и не продается копеек по 20 серебром: он много бы мог принести пользы. Я не буду исчислять всех повестей и романов, всех нувеллистов и романистов: это был бы бесполезный труд и скучный разговор. Романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их родоначальник – Нарезный {81}. В 1804 году издал он отчаянную романтическую трагедию «Димитрий Самозванец», которая была сколком с «Разбойников» Шиллера; потом печатал повести и романы – бледные, бесцветные, манерные, во вкусе г-жи Жанлис. В 1824 он издал «Бурсака», а в 1825 – «два Ивана», романы, запечатленные талантом, оригинальностью, комизмом, верностью действительности. Их обвиняли тогда в грубой простонародности; {82} но главный их недостаток состоял в бедности внутреннего содержания. Он еще написал что-то вроде русского Жильблаза {83}, который был почище всех Выжигиных {84}, хотя и имел несчастье подать повод к появлению этих литературных бродяг и вырожденцев... Лучший романист пушкинского периода литературы нашей, без сомнения, Лажечников. «Новик» его слишком полон, так сказать, обременен внутренним обилием: видно, что он – первое произведение автора; но в нем много теплоты, одушевления, много прекрасных частностей. «Ледяной дом» есть лучшее произведение Лажечникова по содержанию, по одушевлению, которым он спокойно проникнут, по характерам лиц, по превосходным частностям и полноте целого. В «Басурмане» Лажечников перенесся в чуждую ему сферу жизни, которая всех менее может дать содержание для романа. Несмотря на то, недостаточный в целом, «Басурман» не чужд превосходных отдельных мест; к лучшим из них принадлежат те, где является грозное лицо Иоанна III, деда настоящего Грозного; также сцена трагической смерти немца-лекаря, замученного татарами... Жаль, что Лажечников мало пишет: он принадлежит к числу тех писателей, которых влияние особенно сильно на эстетическое и нравственное развитие

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
современного им общества. Что касается до повести – она, со времени появления Марлинского до Гоголя, играла роль ученицы и только в отрывке из романа Пушкина «Арап Петра Великого» на минуту явилась мастером, в смысле немецкого мастера или итальянского маэстро. С Гоголя начался русский роман и русская повесть, как с Пушкина началась истинно русская поэзия... Гоголь внес в нашу литературу новые элементы, породил множество подражателей, навел общество на истинное созерцание романа, каким он должен быть; с Гоголя начинается новый период русской литературы, русской поэзии...

Б. – Воля ваша, а мне кажется, что вы увлекаетесь и видите в Гоголе далеко больше того, что в нем есть. Что говорить – талант, и талант замечательный, удивительное искусство верно списывать с натуры; но – согласитесь сами – ведь действительная и высокая сторона в искусстве есть идеалы, а что за идеальные лица – какой-нибудь взяточник-городничий, мещанка Пошлепкина, какой-нибудь Иван Иванович или Иван Никифорович?..

А. – Вы очень верно выразили мнение толпы о Гоголе, и, по моему мнению, толпа совершенно права с своей точки зрения...

Б. – Как хотите, но я охотно готов быть представителем толпы в этом случае. Смеяться и смеяться, смешить и смешить – это, право, совсем не то, что умилять сердца, возвышать душу...

А. – Совершенная правда! Смешить – дело весельчаков и забавников, а смеяться – дело толпы. Чем грубее и необразованнее человек, тем он более расположен смеяться всякой плоскости, хохотать всякому вздору. Ничего нет легче, как рассмешить его. Он не понимает, что можно плакать и рыдать, когда сердце хочет выскочить из груди от полноты блаженства и радости, и что можно хохотать до безумия, когда сердце сдавлено тоскою или разрывается отчаянием. Ступайте в русский театр, когда там дают «Гамлета», – и вы услышите сверху (а иногда и внизу) самый веселый, самый добродушный смех, когда Гамлет, заколов Полония, на вопрос матери: «Кого ты убил?» отвечает: «Мышь!»... Помните ли вы еще разговор Гамлета с Полонием, с актерами и с Офелиею: мне становилось страшно от этих сцен ужасной иронии глубоко оскорбленной и тяжело страдающей души датского принца, а другие, если не дремали, то смеялись... Я хочу сказать этим совсем не то, что Шекспир и Гоголь – одно и то же или что «Гамлет» Шекспира и «Миргород» Гоголя – одно и то же, – нет, я говорю только, что смех смеху – рознь... Если бы из «Тараса Бульбы» сделать драму, – я уверен, что в страшной сцене казни, когда старый казак на вопль сына: «Слышишь ли, батьку!» отвечает: «Слышу, сынку!»^{85}, многие от души расхохотались бы... И в самом деле, не смешно ли иному благовоспитанному, милому и образованному чиновнику, который привык называть отца уже не то, чтобы «тятенькою», но даже «папенькою», не смешно ли ему слышать это грубое, хохлацкое «батьку» и «сынку»?.. Надо сказать правду: у нас вообще смеяться не умеют и всего менее понимают «комическое». Его обыкновенно полагают в фарсе, в карикатуре, в преувеличении, в изображении низких и пошлых сторон жизни. Я говорю это не в осуждение нашему обществу. Постигание комического – вершина эстетического образования. Шиллер, великий Шиллер признается, что в первой поре своей юности, при начале знакомства с Шекспиром, его возмущала эта холодность, бесстрашие, дозволявшие Шекспиру шутить в самых высоких, патетических местах и разрушать явлением шутов впечатления самых трогательных сцен в «Гамлете», «Лире», «Макбете» и т. д., останавливать ощущение там, где оно желало бы безостановочно стремиться вперед, или хладнокровно отрывать его от тех мест, на которых бы оно так охотно остановилось и успокоилось^[2]. Идеальное трагическое открывается юному чувству непосредственно и сразу; идеальное комическое дается только развитому и образованному чувству человека, знающего жизнь не по одним восторженным мечтаниям и не понаслышке. На такого человека комическое часто производит обратное действие: возбуждает в нем не веселый смех, а одно скорбное чувство. Он улыбается, но в его улыбке столько меланхолии...

Комизм еще не составляет основного элемента всех сочинений Гоголя. Он разлит преимущественно в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Это комизм веселый, улыбка юности, приветствующего прекрасный божий мир. Тут все светло, все блестит радостью и счастьем; мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни. Здесь поэт как бы сам любит созданными им оригиналами. Однако ж эти оригиналы не его выдумка, они смешны не по его прихоти; поэт строго верен в них действительности. И потому всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится. И ни одно из них не проговаривается: поэт

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
математически верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии смеяться, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту действительности. Смех толпы для него бывает оскорбителен в таких случаях; она смеется там, где надо удивляться тонкой черте действительности, верно и зорко подмеченной, удачно схваченной. В повестях, помещенных в «Арабесках», Гоголь от веселого комизма переходит к «юмору», который у него состоит в противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала жизни – с действительностию жизни. И потому его юмор смешит уже только простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою.. Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть... В «Миргороде» этот юмор особенно проникает собою насквозь дивную повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем; оканчивая ее, вы от души восклицаете с автором: «Скучно на этом свете, господа!», точно как будто выходя из дома умалишенных, где с горькою улыбкою смотрели вы на глупости несчастных больных... В этом смысле, комедия Гоголя «Ревизор» стоит всякой трагедии. Что же касается до искусства Гоголя верно списывать с природы – это из тех бессмысленно пошлых выражений, которые оскорбляют свою нелепостию здравый смысл. Подобная похвала – оскорбление. Гоголь творит верно природе; списывают с природы не живописцы, а маляры, и их списки – чем вернее, тем безжизненнее для всякого, кому неизвестен подлинник. Верность природе в творениях Гоголя вытекает из его великой творческой силы, знаменует в нем глубокое проникновение в сущность жизни, верный такт, всеобъемлющее чувство действительности. И это уже многие чувствуют, хотя еще и слишком немногие сознают. Теперь все стараются писать верно натуре, все сделались юмористами: таково всегда влияние гениального человека! Новый Колумб, он открывает неизвестную часть мира, и открывает ее для удовлетворения своего беспокойно рвущегося в бесконечность духа; а ловкие антрепренеры стремятся по следам его толпою, в надежде разбогатеть чужим добром!..

Б. – И вот мы приблизились к самому интересному для нас предмету – к современной нам литературе. О настоящем всегда говорится больше, чем об отдаленном: малейшие подробности имеют интерес; самое маленькое дарование имеет цену...

А. – И однако ж я всего менее намерен распространяться о современной литературе, во-первых, для того, чтоб не наговорить много о пустяках, а во-вторых, чтоб не раздражить гусей...{86} Правда, у нас и теперь не без дарований, более или менее замечательных; скажу более: в нашей грустной эпохе много утешительного. Пора детских очарований теперь миновалась без возврата, и если теперь огромные авторитеты составляются иногда в один день, зато они часто и пропадают без вести на следующий же день... Теперь очень трудно стало прослыть за человека с дарованием: так много писано во всех родах, столько было опытов и попыток, удачных и неудачных, во всех родах, что, действительно, надо что-нибудь получить от природы, чтоб обратить на себя общее внимание... Пушкин и Гоголь дали нам такие критерии для суждения об изящном, с которыми трудно от чего-нибудь размахаться... Хорошую сторону современной литературы составляет и обращение ее к жизни, к действительности: теперь уже всякое, даже посредственное, дарование силится изображать и описывать не то, что приснится ему во сне, а то, что есть или бывает в обществе, в действительности. Такое направление много обещает в будущем. Но современная литература много теряет оттого, что у ней нет головы; даже яркие таланты поставлены в какое-то неловкое положение: ни один из них не может стать первым и по необходимости теряется в числе, каково бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатает; Лермонтова уже нет, –

Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней,
Что любил, в том нашел
Гибель в жизни своей...{87}

А какое пышное развитие обещал этот богатый дарами природы, этот мощный и глубокий дух!.. Публика встретила его, как представителя нового периода литературы, хотя и видела еще одни опыты его... Предчувствия общества не обманчивы: глас божий – глас народа!..

Б. – А ведь результат нашего разговора решительно в мою пользу. Вы спрашивали меня с насмешкою: «Да где ж они? – давайте их!» – и сами не только насчитали множество имен знаменитых и великих, но и нашли в нашей литературе внутреннюю жизнь, историческое движение, где последующее выходит из предыдущего...

А. – В самом деле? Посмотрите-ка, сколько знаменитых и великих имен насчитали мы... Ломоносов – как великий характер (качество, не обогащающее нашей литературы!), как автор нескольких ученых сочинений, имеющих теперь историческое достоинство; Фонвизин, как умный писатель, которого небольшая книга имеет для нас значение «мемуаров», передавших нам дух и характер русского XVIII века; Державин, Карамзин, Дмитриев, Озеров, как лица, имеющие большее или меньшее значение в истории русской литературы, русского общественного образования, – авторитеты, с которыми мы должны знакомиться в школе и которых уже не можем читать, вышедши из школы в свет; – авторы, которых имена для нас священны, но которых значение – наша семейная тайна, неразрешимая для иностранцев, хотя бы иностранцы и могли прочесть их на своих языках... Итак, вот уже шесть имен... Далее: Крылов, гениальный писатель национальных басен – этой поэзии здравого рассудка... Жуковский, внесший в нашу литературу и в нашу жизнь романтические элементы и усвоивший нам несколько превосходных произведений немецкой и английской словесности, которые там читаются в подлиннике... Батюшков – замечательный талант, неопределенно и бледно развившийся; по недостатку содержания, поэзия его поэтому не может быть перенесена на почву чуждого слова, не подвергаясь опасности завянуть и выдохнуться... Гнедич, превосходный переводчик «Илиады», – совершитель подвига, важного и великого только для нас... Пушкин и Гоголь, – вот поэты, о которых нельзя сказать: «Я уж читал!», но которых чем больше читаешь, тем больше приобретаешь; вот истинное, капитальное сокровище нашей литературы... Если Пушкин найдет достойных переводчиков, то не может не обратить на себя изумленного внимания Европы; но все-таки он не может быть там оценен по достоинству: этому всегда помешает объем и глубина содержания его поэзии, далеко не могущие состязаться с объемом и глубиной содержания, каким проникнута поэзия великих представителей европейского искусства... Иностранец, коротко ознакомившийся с Россией и ее языком, не может не признать в Пушкине, как в художнике, мировой творческой силы, которой нечего бояться чьего бы то ни было соперничества; многие лирические стихотворения, выражающие субъективность Пушкина, еще более утверждают его в этом убеждении; но те творения Пушкина, в которых он выходил на историческую почву жизни и которых величие и колоссальность необходимо зависит от содержания, покажут ему, что Пушкин, слишком рано родившись для России, слишком рано и умер для нее... Общественные интересы современной Европы развились из почвы тысячелетнего всемирно-исторического развития и могут возбуждаться только таким поэтическим содержанием, которое оплодотворяет собою век, творит новую историю, и каким проникнуты творения Шекспира, Байрона, Шиллера и Гете... Сказанное о Пушкине можно применить и к Гоголю... Теперь, кто же остается? – Грибоедов, написавший одну комедию, да Лермонтов, написавший один роман в прозе, небольшую книжку стихотворений... Из прежней школы Жуковский, Батюшков, Крылов – вот и все... Вы говорите, что я нашел в нашей литературе даже внутреннюю историческую последовательность: правда, но все это еще не составляет литературы в полном смысле слова. Литература есть народное сознание, выражение внутренних, духовных интересов общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Несколько человек еще не составляет общества, а несколько идей, приобретенных знакомством с Европой, еще менее может назваться национальным сознанием. Наша публика без литературы: потому что в год пять-шесть хороших сочинений на несколько сотен дурных – еще не литература; наша литература без публики, потому что наша публика что-то загадочное: один читал Пушкина, другой в восторге от г. Бенедиктова, а третий был без ума от мистерий г. Тимофеева; один понимает Гоголя, другой еще в полном удовольствии от Марлинского, а третий не знает ничего лучше романов гг. Зотова и Воскресенского... Театральные судьи равно хлопают и «Гамлету», и водевилям г. Коровкина, и «Параше» г.; Полевого... И не думайте, чтоб это были люди разных сфер и классов общества, – нет, они все перемешаны и перетасованы, как колода карт... Исторический ход. Свой наша литература совершила в самой же себе: ее настоящею публикою был сам пишущий класс, и только самые великие явления в литературе находили более или менее разумный отзыв во всей массе грамотного общества... Но будем смотреть на литературу просто, как на постоянный предмет занятия публики, следовательно, как на непрерывный ряд литературных новостей: что же это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте в практической деятельности, а на чтение посвятите время между обедом и кофе, – и тогда не на один день останетесь вы без чтения. В журналах все – переводы, а оригинального разве три-четыре порядочные повести в год, да несколько стихотворений, да книг с полдюжины, включая сюда и ученые, – вот и все. Тогда, читая в журналах статьи о процветании русской литературы, поневоле восклицаете, протяжно зевая: «Да где ж они? – давайте их!»... Любопытно было бы сделать хоть один перечень литературных явлений за целый год...

* * *

Но это мы сделаем уже сами, тем более что это так нетрудно сделать: Библиографическая хроника «Отечественных записок», не пропускающая ни одной новой книги, изданной в России, дает нам все нужные для такого дела материалы. Если прерванный нами разговор сколько-нибудь заинтересовал вас, читатели, то и наша приписка к нему не должна миновать вашего внимания: может быть, в этом годичном обзоре найдете вы кое-какие пояснения и дополнения к длинному разговору; по крайней мере встретите имена, не упомянутые там, но известные давно или недавно и играющие первые роли в современной русской литературе...

Начнем с журналов. В журналах теперь сосредоточилась наша литература, и оригинальная и переводная. В них помещаются теперь повести, которые недавно издавались особо, частях в двух, в трех и четырех; в них целиком печатаются романы, которых каждая глава стоит иной повести недавнего времени; в них печатаются драмы, исторические книги и т. д. Ко всему этому надо прибавить, что наши журналы из всех сил стремятся к многосторонности и всеобъемлемости – не во взгляде, о котором, правду сказать, немногие из них думают, – а в разнообразии входящих в их состав предметов: тут и политика, и история, и философия, и критика, и библиография, и сельское хозяйство, и изящная словесность – чего хочешь, того просишь. Многие не видят во всем этом добра и толкуют обо всем этом вкось и вкривь, – а ларчик просто открывался!{88} Человек с дарованием переводит драму Шекспира; напечатать ему свой перевод не на что; наудачу пуститься нельзя, потому что, каков бы ни был перевод, все-таки нельзя надеяться, чтоб его разошлось более двух десятков экземпляров, и то разве года в два... Что ж тут остается делать? – Напечатать в журнале. Это и прекрасно: те, которые могут судить о Шекспире и оценить перевод, прочтут, может быть, еще не читанную ими драму великого, творца; а те, которые никаких других драматических красот, кроме «репертуарных»{89}, но смыслят, – те будут вознаграждены какою-нибудь большою сказкою, в той же книжке журнала напечатанною... В «Отечественных записках» прошлого года было помещено целое большое историческое сочинение «Альбигойцы»{90}, которое было всеми прочтено с жадностью и произвело общий восторг: будь же оно издано отдельно, его никто бы не прочел, о нем никто бы не узнал, переводчик напрасно потратил бы труд и время, а издатель деньги... Этих примеров слишком достаточно для объяснения, почему журналистика поглотила всю литературу. Это не прихоть, не произвол, даже не расчет со стороны журналистов: причина дела в необходимости, в самой действительности... Что журналист хочет обнять своим журналом все области литературы и науки, удовлетворить всем потребностям общества – от стихов до статей о свекловичном сахаре и удобрении полей разными средствами, – здесь тоже очень простая причина: он хочет, чтоб его журнал читала публика... У нас еще не может быть специальных журналов, нам пожалуйте всего за одни и те же деньги; мы хотим не мнения, не руководительного начала, не предмета для учения или размышления, – мы хотим чтения как средства от скуки, потому что одни карты да карты, сплетни да сплетни, – оно, конечно, хорошо, да ведь прискутит же... Семейство выписывает журнал, – журналист должен угодить всем членам этого семейства: отец-старик читает, например, перечень событий в отечестве и статьи по части сельского хозяйства; мать – повести и модные известия; сын – критику и разборы книг; дочь – стихи, повести и модные известия; смесь – все. Не угодите одному, останутся недовольны все! За границую сущность журнала состоит в его мнении, и потому там журналисту нечего бояться соперничества, не к чему хвататься за множество таких предметов: у него есть мнение – есть и подписчики, потому что кто разделяет его доктрину, тот будет читать его журнал; следовательно, ему не помешают, его не заслонят, не задавят другие журналы, хотя бы у них были десятки тысяч подписчиков. Там гибнет только бесцветность, бесхарактерность, бессилие и бездарность. Толстога наших журналов тоже не расчет, а необходимость. И в городе скучно жить – о деревне нечего и говорить: вы получаете книжку журнала столь полновесную, что предвидите целую неделю чтения – не счастье ли, не блаженство ли это?.. Иные же слабы глазами или не привыкли читать скоро – им на целый месяц занятие; шутка ли это?.. Тощие и содержанием и талантом журналы истощают последнее свое остроумие на насмешки над толстыми журналами, а толстые журналы редко даже замечают тощих... Все это в порядке вещей, и все это русская литература!..

Приступая к журналам, начнем с старейшего из них – с «Сына отечества». Он кончился нынешний год сорок третьим номером, вместо пятидесяти второго... В этой 43-й книжке особенно примечательна статья о первом томе «Русской беседы»: рассказывается строка в трех содержание каждой пьесы, потом делается большая

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
выписка из пьесы, а из всего этого выводится подразумеваемое следствие, что пьеса очень хороша... Какой наивный способ критиковать книги и наполнять журнал... Странное дело! мы всеми силами старались следить за «Сыном отечества»: получим, бывало, отсталую книжку – тотчас же читать – и ничего не прочтем... Публика, в отношении к «Сыну отечества», была заодно с нами, с тою только разницею, что даже и не разрезывала его... А кажется, чего в нем нет – и политика, и сокращенные романы, и экстракты из повестей, а в «Смеси» всегда бездна остроумия – ничто не помогло! С будущего года «Сын отечества» снова возрождается, юнеет... Бедный старец! найдет ли он наконец для своих иссохших, желтеющих костей мертвую и живую воду – не знаем; но обыкновенной, пресной воды в нем много...{91} Не далее, как перед началом прошлого года, грозная афиша возвестила, что Барон Брамбеус, по врожденному ему великодушию, не помня зла, решается протянуть свою высокородную руку падшему врагу, чтоб поднять его. И действительно, барон руку-то протянул, но врага-то не поднял – у старика, видно, отнялись ноги, или, может быть, у барона ослабли руки?... Оставим же их, пожелаем им доброго здоровья и укрепления сил, и обратимся к «Библиотеке для чтения», которая должна непосредственно следовать за «Сыном отечества»{92}.

«Библиотека для чтения» с 1839 года как будто пошатнулась – начала опаздывать, чего с нею прежде не бывало; начала печатать статьи об искусстве, которых смысл доселе остается тайною для публики и здравого смысла. В девяти книжках тянулся роман Г. Кукольника «Эвелина де Вальероль»; получая следующую книжку, публика забывала, что прочла в предшествовавшей: это было очень удобно придумано для доставления публике приятного и занимательного чтения. В пятой книжке вдруг явился экстракт из романа Тика «Виттория Аккоромбона», вполне переведенного и напечатанного в третьей и четвертой книжке «Отечественных записок»... Отделение «Литературной летописи» и «Смеси» в «Библиотеке для чтения» были, – особенно первое, – по два, по три листочка, увеличиваясь только в последних книжках старого и первых книжках нового года, как это воспоследовало и теперь. Но умный человек и на одной страничке найдет что сказать! «Библиотека для чтения»... была очень находчива в этом отношении... Четвертая книжка ее вдруг, ни с того ни с сего, пустилась рассуждать о Гомере, гекзаметре, о том, как должно переводить Гомера... Не довольствуясь рассуждениями, она – такая добрая! – не оставила поучить, – разумеется, тех, кто захочет учиться у ней, – самым делом и представила или, как выражается С. Н. Глинка, «предъявила»{93} образчики своих трудов по части сочинения настоящих, самых лучших гекзаметров; но приступила к этому очень тонко и ловко: она объявила, что критика – вздор, шарлатанство, ибо-де критика есть не что иное, как личное мнение, «ничтожная, беспоследственная, частная болтовня»...{94} *Avīs aux lecteurs!*[3] что касается до нас, – мы очень рады этому «известию»: оно объяснило нам, что такое критика в «Библиотеке для чтения». Из снисхождения к требованиям педантов вдруг пускается она в ученую критику, говоря: «Я объявляю, что напрягу все силы, чтобы, елико возможно, быть важным и не смеяться. Скучайте! Мне до этого дела нет»{95}. И что же! Невозможно лучше и честнее сдержать данного слова: статья вышла скучная, прескучная... «Библиотека для чтения» пустилась рассуждать об отношении музыки к гекзаметру и гексаметра к музыке и обнаружила по обоим этим предметам столько природного знания, что, читая статью ее, так и приговариваешь к каждому слову: «Справедливо, все справедливо, Петр Иванович; замечания такие... видно, что наукам учился»{96}. Результатом всех этих тонических и метрических разглагольствований на восемнадцати страницах был знаменитый стих:

По берегу Невы Маша ходила белою босою ногою, собирая ягоды, и отморозила себе нос...{97}

После этого стиха о «Библиотеке для чтения» скорее можно сказать, что она не выдумает пороку, нежели, что она не сочинит стиху...{98}

За диссертациею следует разбор дрянного опыта перевода «Одиссеи», а в разборе развитие следующих двух великих идей: № 1. «Бедный Гнедич убил всю жизнь свою на усердное коверканье «Илиады» во всех возможных отношениях, на составление самой уродливой карикатуры ее размеру, ее гармонии, цвету, физиономии, духу и умер в том блаженном убеждении, что он познакомил русских с формой и содержанием чудеснейшего произведения древности»{99}. № 2. «Древние под простотою (*simplicitas*) разумели простонародность, и Гомер объясняется, как кум Емельян у Казака Луганского»...{100} В «Смеси» XI книжки помещены неоспоримые доказательства, что древние раскрашивали красками свои статуи и что классические города были – изящный Китай!..{101} Подлинно, мандаринский взгляд на искусство...

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
Впрочем, может быть, все это и шутка: «Библиотека для чтения» большая охотница шутить, – это всем известно. Прочтите, например, в третьей книжке ее похвалы графине Ростопчиной, Зенеиде Р... и Г. Кукольнику и отгадайте, что это – похвала или насмешка...{102} Но, говоря о трех последних частях сочинений Пушкина, – мы в этом уверены – «Библиотека для чтения» не шутит: по ее мнению, Пушкин – писатель старой школы: он употреблял сей и оный{103}. Впрочем, это дело личного вкуса и личного самолюбия, полагающего войну против сих и оных великим подвигом; но в XII книжке, на 55 странице «Литературной летописи», находится превосходный образчик учености «Библиотеки для чтения», где доказывается, что все на свете дым, в том числе и всемирный закон постепенности... Впрочем, направление и дух «Библиотеки для чтения» так известны всем и каждому, что о них нового ничего нельзя сказать, кроме того разве, что одно и то же надоедает, мысли без содержания становятся пусты, старые шутки приторны... Справедливость требует заметить, что прошлогодняя «Библиотека для чтения» не чужда и хорошим статей, особенно переводных; жаль только, что к ним нельзя иметь веры, не зная, за что их должно принимать – за дело или за шутку. К числу шуток, и довольно плоских, принадлежит статья о Франклине{104}. – Критика в «Библиотеке для чтения» всегда пуста, всегда наполнена выписками из сухих сочинений, преимущественно подвергающихся ее рассмотрению. Но критика на книгу отца Иакинфа о Китае представляет собою блестящее исключение из общего правила этого журнала: статья живая, энергическая, умная, хотя и не чуждая парадоксов{105}. Странный журнал эта «Библиотека для чтения»: о Китае судит по-европейски, а о европейском искусстве по-китайски! Подлинно, кому на что даст бог дарование!..

К отделению русской и иностранной поэзии в «Библиотеке для чтения» мы будем обращаться ниже, говоря вообще о произведениях беллетристики в прошлом году; а теперь перейдем к другим журналам.

«Современник» прошлого года по-прежнему был верен своему плану, духу и направлению и по-прежнему был богат хорошими оригинальными статьями и хорошими переводами произведений скандинавской поэзии. Особенно интересна и важна в нем неоконченная статья «Нибелунги»{106}. Окончание этой превосходной статьи будет помещено, вероятно, в «Современнике» нынешнего 1842 года.

В «Москвитянине» было несколько превосходных оригинальных статей в стихах и в прозе, которые нам особенно приятно исчислить здесь все: «Спор», стихотворение Лермонтова; «Последние стихи лорда Байрона» К. Павловой; «Сцены к «Ревизору»» и «Письмо о первом представлении «Ревизора»» Гоголя; «Обозрение Гегелевой логики» Редкина; «Несколько слов о римской истории» Лунина; «О трагическом характере истории Тацита» Крюкова; «Несколько слов о сценическом искусстве» Крюкова; разбор «Чтений о русском языке Греча» Шевырева. Интересны некоторые материалы для истории русской литературы, например, «Знакомство Дмитриева с Карамзиным» (из записок Дмитриева) и пр.; некоторые материалы для истории России, как, например, «Последний претендент местничества, князь Козловский», «Письмо Н. И. Панина о поимке Пугачева» и пр. Замечательных повестей} оригинальных и переводных, в «Москвитянине» не было.

«Русский вестник» хотя и новый журнал{107}, однако нового ничего не сказал и не сделал, кроме разве того, что опаздывал выходом книжек и, вместо обещанных двенадцати книжек, появился в прошлом году только в числе десяти, что, конечно, для него ново, потому что он делает это еще в первый раз. Наполнялся же он статьями специального содержания, сухими и не журнальными. Пускался «Русский вестник» и в философию, – правда, не часто, всего, кажется, только один раз, но зато с большим успехом. Любопытные сами могут справиться об этом в курьезной статье: «Европа, Россия и Петр Великий»{108}, а мы выпишем из нее, для пользы и удовольствия читателей, только один, но зато длинный и, по глубине содержания, не совсем понятный период:

После великой субботы творения, когда кончились явления вещественных сил природы и явилось в мире последнее, духовное божие создание, венец творений его, человек, земля, жилище человека, представила ему, в отверделых формах своих, внешний обширный материк планеты, где сомкнуты были две великие части света – Азия и Европа, Восток и Запад, две противоположности, две половины мира, борьба которых должна была составить жизнь человечества (?), ибо жизнь есть не что иное, как борение двух начал – возрождения и разрушения, света и тени, стремления частей к самобытности и стремления целого совместить в себе частную самобытность («Русский вестник», № 1, стр. 97).

Мы не выбирали, а выписали на выдержку, взяли немного из многого; осталась

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru бездна гораздо лучшего; в особенности рекомендуем место от 104 до 107 страницы, где очень ясно и ново рассуждается о падении человека, о фетишизме, о философской (?!..) религии китайцев, о буддизме, браминизме, магах, египтянах, скандинавах, цельтах, мугамеданах и других предметах, не менее близких к России и истории Петра Великого. Эту интересную статью можно разделить на три части: первую занимает философия – взгляд и нечто{109} – двадцать две страницы (95–116); вторая посвящена собственно России и занимает восемь страниц (125–133); третья посвящена Петру Великому и занимает собою – меньше одной страницы (134). В своем месте мы скажем, что было хорошего в «Русском вестнике» по части изящной словесности; а теперь укажем только на ученые и критические статьи, больше или меньше интересные; их очень немного: оригинальная статья «Завоевание Азова в 1696 году» Н. Полевого, переводная статья «Любопытные и новые известия о Московии, 1689 года» (Де ла Невилля); разбор Н. Полевого первой тетради «Истории Петра Великого», сочинения г. Ламбина; разбор «Ластовки», «Исповеди доктора Ястребцова». Этого довольно на десять книг – чего же больше!.. Ко всему этому надо прибавить, что в «Русском вестнике» незаметно ничьего преимущественного влияния, которое могло бы дать этому изданию характер, направление, образ мыслей: имена гг. Полевого, Кукольника и Греча украсили только его программу, а не листы; впрочем, два первые сделали хоть что-нибудь в качестве сотрудников, если не редакторов; но третий ничего не сделал и в этом качестве, ибо одна или две бесцветные статьи ничего не значат в родовом издании журнала. Как тут не вспомнить гениального выражения одной статьи в пушкинском «Современнике» 1836 года об участии г. Греча в «Библиотеке для чтения»: «Имя г. Греча было выставлено только для формы; по крайней мере никакого действия не было заметно с его стороны. Г-н Греч давно уж сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы...» («Современник», т. I, стр. 195){110}.

За исключением «Отечественных записок», хвалить или осуждать которые – не наше дело, вот и все наши журналы. Газет у нас еще меньше – всего две, то есть газет, издаваемых не от правительства и посвященных преимущественно литературе: «Северная пчела» и «Литературная газета».

«Северная пчела» издается и бог знает сколько лет, что-то очень давно: но – странное дело! – она так всегда верна себе, так неизменчива ни к лучшему, ни к худшему, что первый номер первого года ее существования и последний номер только что кончившегося вчера 1841-го года – так похожи один на другой, и по содержанию, и по тону, и по взгляду, или по отсутствию всякого взгляда на предметы, что можно подумать, будто оба эти листка напечатаны в один и тот же день. Поэтому мы безошибочно можем привести о ней суждение из упомянутой выше статьи «О движении журнальной литературы», которую Пушкин напечатал в первой книжке своего «Современника» на 1836 год и с которой, следовательно, он был совершенно согласен. Вот что сказал Пушкин, или его «Современник»: ««Северная пчела» заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполняла свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор, г. Греч, довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В «Северной пчеле» пробовали остроту пера разные незнакомые, скрывавшиеся под разными буквами, без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удалства. Они нападали разве на самого уже беззащитного и круглого сироту. Насчет неопрятных изданий являлись остроумные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтоб расхвалить книгу и при конце сложить с себя грех такую оговоркою: «Впрочем, желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога» или: «Хорошая книга требует хорошего издания», и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и пр. Впрочем, от «Северной пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша; ее дело было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике» (стр. 202–204)...{111} Для полноты верной характеристики «Северной пчелы» – мы должны прибавить, что ее участие в литературе более и более принимает характер статистический, особенно в конце старого и начале нового года: она судит исключительно только о числе подписчиков на журналы, о ценах

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru журналов, о том, шибко ли идет книга или залежалась... Что же касается до политических известий – это самая неинтересная часть «Северной пчелы», потому что политические известия всегда новее, свежее, полнее и интереснее в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Русском инвалиде», которые постоянно, днем или двумя днями раньше «Северной пчелы», сообщают политические новости, так что «Северной пчеле» остается лишь весьма легкий и приятный труд – перепечатывать эти новости в столбцы свои...

Кстати: есть повод надеяться, что в нынешнем году «Русский инвалид» значительно расширит свои пределы и даст обширное место статьям литературным, фельетону, библиографии; самый формат его увеличится, может быть, в первую, может быть, во вторую половину года.

«Литературная газета» была верна своей литературной политике: об этом знает «Северная пчела», то есть ее ученые издатели и добросовестные, даровитые сотрудники. Особенно замечательны были в прошлом году фельетонные разборы «Литературной газеты» опер «Аскольдовой могилы» и «Тоски по родине»^{112}, некоторые рецензии и другие газетные статьи; с нынешнего года «Литературная газета» значительно усилит свой интерес для публики, более держась чисто газетной сферы; выходя же в неделю только один раз, не листком, а тетрадью, она, нисколько не теряя в свежести известий, приобретает возможность представлять своим читателям довольно большие повести, рассказы, даже водевили и небольшие драмы.

Теперь сделаем краткое обозрение всего сколько-нибудь примечательного., что появилось, в продолжение прошлого года, по части изящной литературы, как оригинального, так и переводного, как отдельно изданного, так и помещенного в периодических изданиях. Разумеется, здесь первое место занимают три тома посмертных сочинений Пушкина, между которыми много таких, которые публика прочла в первый раз. В этих же трех томах помещено несколько стихотворений, пропущенных в первых восьми томах, и несколько собранных, по смерти Пушкина, журналами, преимущественно «Отечественными записками». Особенной благодарности издатели заслуживают за помещение лицейских стихотворений Пушкина: это важный факт для русской литературы и истории развития поэтической деятельности Пушкина. Иные говорят, что не должно было печатать того, чего не хотел печатать сам Пушкин при жизни своей: странное мнение!^{113} Пушкин не мог и не должен был печатать всего: не его дело было выставлять себя гением и великим человеком, которого каждая строка интересна и важна для современников и потомства; это было дело других, когда смерть изменила отношения поэта к публике и публики к поэту, – а это дело выполнили издатели его сочинений. Небольшое число стихотворений, не вошедшее в последние три тома, и семь пропущенных прозаических статей издатели хотят собрать в особой книжке и безденежно выдать купившим три последние тома сочинений Пушкина^{114}. В «Отечественных записках» было напечатано девять стихотворений Лермонтова: «Есть речи», «Завещание», «Оправдание», «Родина», «Последнее новоселье», «Кинжал», «Пленный рыцарь», «Парус» и «Желанье»; одно («Спор») помещено в «Москвитяине», два во втором томе «Русской беседы». В «Отечественных записках» напечатано несколько пьес Кольцова, из которых «Что ты спишь, мужичок», «Расчет с жизнью», «Много есть у меня» и в особенности «Ночь» принадлежат к капитальным произведениям русской поэзии. Как жаль, что стихотворения Кольцова (разумеется, строго избранные) до сих пор не изданы! Поэтическое дарование Кольцова признано всеми безусловно; многие из талантливых наших музыкантов кладут его песни на музыку;^{115} итак, его читают и поют, его хвалят, но не многие знают степень и важность его дарования, как капитального, а не временного, которое занимает современность и умирает вместе с лицом... Кольцов принадлежит к числу таких художников, которые не могут претендовать на всеобъемлемость и многосторонность выражаемой их творчеством жизни, но которые, избрав себе одну сторону жизни, исчерпывают ее глубоко и мощно, как, например, Орас Верне в изображении военных сцен... Если бы стихотворения Кольцова были изданы^{116}, в этом все убедились бы и скоро и единодушно. Теперь же нет общего впечатления в пользу его поэзии, потому что как можно требовать, чтоб каждый помнил, где и когда было помещено то или другое стихотворение? – Вероятно, читатели «Отечественных записок» обратили внимание на стихотворения г. Огарева, отличающиеся особенною внутренней меланхолическою музыкальностью; все эти пьесы почерпнуты из столь глубокого, хотя и тихого чувства, что часто, не обнаруживая в себе прямой и определенной мысли, они погружают душу именно в невыразимое ощущение того чувства, которого сами они только как бы невольные отзвуки, выброшенные переполнившимся волнением. Прошлый год был ознаменован появлением нового дарования, подающего в будущем большие надежды: ^{117} мы говорим о г.

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru Майкове, которого стихотворения являлись, впрочем редко означенные полным именем автора, в «Библиотеке для чтения». Из напечатанные «в этом журнале особенно замечательны «Пустынник», «Сомнение» (№ 2); в «Отечественных записках» «Вахханка» и «Искусство» (№№ 10 и 11). Лучшие стихотворения г. Майкова – в антологическом роде. В них столько эллинского и пластического в содержании и форме, столько полноты и жизни, что нельзя в авторе не признать положительно поэтического таланта. Конечно, не все его стихотворения равного достоинства; есть между ними и не совсем удачные; но зато иные не оставляют ничего желать; лучшее из них «Сон», напечатанный в «Одесском альманахе» на 1840 год, и цитованное в статье «Отечественных записок» о «Римских элегиях Гете». Стихотворения г. Майкова не антологические большую частью отличаются прекрасными стихами и поэтическими частностями; но их содержание почти всегда неопределенно и отзывается какою-то юношескою незрелостию. В нынешнем году г. Майков издаст свои стихотворения; мы поговорим о них, когда они выйдут в свет. – В прошлом году вышла первая часть стихотворений графини Ростопчиной, уже известных публике и оцененных ею по достоинству. Стихотворения Козлова напечатаны третьим изданием. «Пиитические опыты» Елизаветы Кульман вышли вторым изданием. Третье издание «Сказаний русского народа» и первая часть русских народных сказок, изданных г. Сахаровым, дополняют собою общий итог прошлогодней поэзии. Из капитальных произведений русской поэзии появились вторым изданием: «Ревизор» (с новыми сценами и письмом автора о первом представлении его комедии) и «Герой нашего времени». Нового по части романа и драмы ничего не являлось. Впрочем, к романам сколько-нибудь замечательным принадлежат: «Эвелина де Вальероль», помещенный в девяти книжках «Библиотеки для чтения», да «Византийские легенды» и вышедший вторым изданием «Аббадонна»{118}. «Эвелина де Вальероль» г. Кукольника читается легко и весело, потому что в ней много внешнего интереса, бездна эффектов, толпа лиц, из которых лицо Гар-Пиона даже похоже на характер. Героя в романе нет ни одного, а героев много; виден ум и изучение, но мало фантазии. Одним словом, «Эвелина де Вальероль» примечательный tour de force[4] таланта, который не так слаб, чтоб ограничиваться безделками, доставляющими фельетонную известность, и не так силен, чтоб создать что-нибудь выходящее за черту посредственности. Сколько ни написал г. Кукольник драм, и русских и итальянских, все они не что иное, как «этюды», которые могут иметь свои относительные достоинства, но которые читать очень скучно. Повестями наша литература была гораздо богаче. Лучшая повесть прошлого года, без всякого сомнения, – «Аптекарьша» графа В. А. Соллогуба, напечатанная во втором томе «Русской беседы». И не мудрено: граф Соллогуб – писатель с замечательным дарованием, а «Аптекарьша» решительно выше всего, что он написал. Давно уже мы не читали по-русски ничего столь прекрасного по глубоко гуманному содержанию, тонкому чувству такта, по мастерству формы, простирающемуся до какой-то художественной полноты. Это третье прекрасное произведение графа Соллогуба после «Истории двух калов» и отрывка из «Тарантаса», и мы видим особенное доказательство таланта автора в большей зрелости его, которая так очевидна в последнем его произведении. Содержание «Аптекарьши» очень просто, так что для людей без эстетического чувства она может показаться повестью, лишенною высокого содержания, простым рассказом о простом случае; но в этом-то все и достоинство ее. Прочитав повесть, вы чувствуете, что внутри ее совершалась трагедия, тогда как снаружи все было спокойно. Курляндский юноша, барон Фиренгейм, – «природа которого была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно-аристократическая», как выражается автор, – живя в Дерпте, на квартире профессора, заинтересовался слегка его хорошенькою дочкою, которая, с своей стороны, глубоко полюбила его. Превосходно изображена автором борьба в душе барона между приятным впечатлением, которое производила на него милая девушка, и оскорбительным впечатлением, которое производила на него проза окружающей ее действительности. Это понятно: розовое личико пятнадцатилетней девочки, с большими темно-синими глазами, длинными шелковистыми ресницами, детской, задумчивой головкой, – не совсем вяжется с кухонными хлопотами, сальными свечами и изношенным салопом. Только навсегда уезжая из Дерпта, барон понял, как любила его бедная Шарлотта. Долго не видались они. Барон начал хлопотать о служебной карьере и, говоря словами самого автора, – «Анне с короной он кланялся с развязной улыбкой, а Андрею Первозванному с чувством глубокого почтения»... Потом он встречается ее в дрянном уездном городишке, женою бедного немца-аптекаря, старается соблазнить ее; но ему не удается и, пристыженный благородством аптекаря, бескорыстною любовью его и чистым уважением к жене, уезжает из городка. Приехав опять, через год времени, в городишко, он узнает, что Шарлотта умерла от чахотки... Не знаем, долго ли он грустил, или скоро ли опять утешился: знаем только, что повесть графа Соллогуба оставляет в душе глубоко грустное впечатление... О рассказе нечего и говорить: это само мастерство; характеры все до одного прекрасно очерчены, верно выдержаны. Герой – одно из тех

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru типических и часто встречающихся лиц, которым природа не отказала в чувстве и способности понимать многое, но которых она в то же время наделила большим избытком ничтожности и пустоты в характере. Отец Шарлотты – тип немецкого гелерта, и как хорош он, когда выкатывает студентской ватаге весь скудный свой погреб и с сверкающими от восторга глазами смотрит на их ученый разгул или когда он от души восхищается мастерскою раною, от которой мог умереть его любимец. Но в повести есть еще лицо, «– «котором мы не говорили: это уездный франт, в венгерке с кистями – лицо в высшей степени типическое, мастерски очерченное...

Г-н Панаев напечатал в прошлом году две повести: «Онагр» («Отечественные записки», № 5). и «Барыня» (в первом томе «Русской беседы»), принадлежащие к замечательнейшим явлениям прошлогодней литературы. «Барыня» особенно хороша: в ней столько характеристического, верного, ловко и цепко схваченного. Впрочем, каждая новая повесть Г. Панаева бывает лучше предшествовавшей, в чем читатели наши особенно могут убедиться по «Актеону». Это добрый знак: развитие и движение вперед есть несомненное доказательство истинного дарования...

В «Отечественных записках» обратили на себя внимание избраннейшей части публики две повести А. Н. (псевдоним): «Звезда» (№ 3) и «Цветок» (№ 9). Они отличаются особенным, самостоятельным характером и обнаруживают в авторе дар творчества, который, при условии развития, может обещать много в будущем. «Звезда» особенно хороша по какому-то грустному и зловещему колориту, разлитому по фону картины. К особенностям обеих повестей принадлежит какая-то вкрадчивая, завлекающая внимание читателя верность в малейших подробностях изображаемой действительности и необыкновенное умение завязать целую драму на самых, по-видимому, обыкновенных, вседневных случайностях. Рассказ столько же простой, сколько увлекающий и поэтический. А. Н. написал уже не одну прекрасную повесть; в «Телескопе» 1836 года были напечатаны его «Катенька Пылаева» и «Антонина»; в «Московском наблюдателе» 1838 и 1839 гг. – «Одни сутки из жизни холостяка» и «Флейта»; в «Отечественных записках» 1840 – «Недоумение». Общий недостаток почти всех его повестей состоит в том, что женские характеры изображаются в них типически, искусно, верно, а мужские большею частью бледно и бесцветно.

В «Библиотеке для чтения» была только одна оригинальная повесть, но зато прекрасная: мы говорим о «Теофании Аббаджио» (№№ 1 и 2) г-жи Ган, обыкновенно подписывающейся Зенеидою Р-вою. Г-жа Ган принадлежит к примечательнейшим талантам современной литературы. В ее повестях заметен недостаток такта действительности, умения схватывать и изображать с ошутительною точностью и определенностью самые обыкновенные явления ежедневности. Но этот недостаток вознаграждается внутренним содержанием, присутствием живых, общественных интересов, идеальным взглядом на достоинство жизни, человека и женщины в особенности, полною чувства, электрически сообщаемого душе читателя. Поэтому часто в повестях г-жи Ган внешнее содержание, завязка и развязка бывают не совсем правдоподобны и естественны, как, например, в повести «Идеал», где женщина, одаренная глубоким чувством, увлекается поэтом, который оказывается негодяем, и потом удивляется, как можно быть таким «небесным» в своих сочинениях и «земным» в своей жизни: тут что-нибудь да не так – или героиня повести не довольно имела эстетического такта, чтоб не очароваться пустыми фразами, или поэт не был негодяй. Очевидно, что сюжет для г-жи Ган имеет значение оперного либретто, на которое она потом пишет музыку своих ощущений и мыслей. И в самом деле, эти ощущения у ней иногда возвышаются до пафоса, – и мы ничего не сказали бы о ее повестях, если б не выписали из них хотя нескольких строк, характеризующих ее талант. Вот, например, вдохновенная выходка женского чувства, оскорбленного предательскою мишурою общественного мнения о значении женщины:

Но какой злой гений так исказил предназначение женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчин, рядиться, плясать, владычествовать в обществе, а на деле быть бумажным шахом, которому паяц кланяется в присутствии зрителей и которого он бросает в темный угол наедине. Нам воздвигают в обществах троны; наше самолюбие украшает их, и мы не замечаем, что эти мишурные престолы – о трех ножках, что нам стоить немного потерять равновесие, чтобы упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, кажется иногда, будто мир божий создан для одних мужчин; им открыта вселенная со всеми таинствами; для них и слава, и искусства, и познания; для них свобода и все радости жизни. Женщину от колыбели сковывают цепями приличий, спутывают ужасным «что скажет свет» – и если ее надежды на семейное счастье не сбываются, что остается ей вне себя? Ее бедно, ограниченное воспитание не позволяет ей даже посвятить себя важным занятиям; она поневоле должна броситься

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
в омут света или до могилы влечить бесцветное существование!.. {120}
Или вот заключительные строки прекрасной повести «Суд света», где убитая ложным мнением женщина, в сознании своей правоты, пишет к тому, кто, умев так сильно полюбить, не умел достойно оценить ее:

Суд света теперь тяготеет над нами обоими; меня, слабую женщину, он сокрушил, как ломкую тросточку: вас, о! вас, сильного мужчину, созданного бороться со светом, с роком и со страстями людей, он не только оправдает, но даже возвеличит, потому что члены этого страшного трибунала все люди малодушные... С позорной плахи, на которую положил он голову мою, когда уже роковое железо занесено над моей невинной шеей, я еще взываю к вам последними словами уст моих: «Не бойтесь его!.. Он раб сильного и губит только слабых»... {121}
«Теофания Аббаджио» – лучшая из повестей г-жи Ган...

Г-н Кукольник в прошлом году написал много повестей, о которых нельзя судить верно, не разделив их на три разряда: на повести, содержание которых взято из русской жизни времен Петра Великого; на повести, содержание которых заимствовано из других эпох русской жизни, и, наконец, на повести, содержанием которых служит жизнь чуждых нам стран, особенно Италии. Первые все очень интересны; вторые – посредственные; третьи – из рук вон плохи... И потому поговорим о первых. Это собственно не повести, а рассказы о старине, в основание которых г. Кукольник всегда берет какой-нибудь известный исторический анекдот. Но надо знать, что он умеет сделать из этого анекдота, с каким искусством он расскажет его, свяжет частный быт с историей, а историю с частным бытом; сколько у него тут комического, а иногда и истинно высокого, особенно в тех сценах, где является у него Петр Великий; сколько оригинальных характеров и какая яркая картина борьбы нововведений с старинною дикостью нравов! Не думайте, чтоб г. Кукольник делал из приверженцев старины карикатуры и чудища: нет, это иногда верные слуги, великого царя, люди честные и благородные; но не думайте, чтоб г. Кукольник изображал их на манер героев наших патриотических драм, то есть людьми, которые говорят нравственными сентенциями и действуют, как машины: нет, это лица действительные, исполненные комизма и в то же время трогательные своим благородством в грубых формах. Таков, например, Иван Михайлович, олонецкий прокурор... {122} Жаль, что г. Кукольник не издаст своих рассказов отдельно: их немало, а книжка вышла бы преинтересная. Вот перечень этих рассказов: «Новый год» и «Авдотья Петровна Лихончиха», «Прокурор», «Сказание о синем и зеленом сукне», «Иван Иванович» – лучшая в этом роде повесть г. Кукольника, занимающая собою первый выпуск «Сказки за сказкою». Статьи заметим, что и «Капустин», помещенный в «Утренней заре» на нынешний год, принадлежит к числу таких же рассказов г. Кукольника.

Но мы заговорились, – и потому спешим в общем перечне поименовать другие, заслуживающие большего или меньшего внимания повести, рассеянные в периодических изданиях. «Еще из записок одного молодого человека» Искандера («Отечественные записки», № 8); первый отрывок из этих записок, полных ума, чувства, оригинальности и остроумия и заинтересовавших общее внимание, был помещен в «Отечественных записках» 1840 года (№ 12); о втором можно сказать, что он еще лучше первого; {123} «Кулик», повесть г. Гребенки, в «Утренней заре» на

1841 и его же «Записки студента» в «Отечественных записках» (№ 2); «Южный берег Финляндии», повесть князя Одоевского, в «Утренней заре»; «Лев», рассказ графа Соллогуба, в «Отечественных записках» (№ 4); «Институтка», роман в письмах С. А. Закревской – новой талантливой писательницы, вышедшей на литературное поприще («Отечественные записки», № 12); «Мичман Поцелуев» В. И. Даля, во втором томе «Русской беседы». – Барон Брамбеус в последней книжке «Библиотеки для чтения» вдруг разразился, после долгого молчания, началом большой повести «Идеальная красавица, или Дева чудная». В этом начале нет никакого содержания, а есть одни рассуждения о том, о сем, а чаще ни о чем, рассуждения, местами умные, но большую часть скучные, прескучные...

Отдельно вышли уже известные публике повести графа Соллогуба, под названием «На сон грядущий» – заглавие, совершенно не соответствующее аффекту интересного сборника...

Теперь – о переводах. Можно сказать утвердительно, что у нас в настоящее время больше всего переводят Шекспира, хоть и нельзя сказать, чтоб его больше всего читали. Здесь первое место должно занимать смелое и благородное предприятие г. Кетчера – перевести прозою всего Шекспира. Г-н Кетчер напечатал пять пьес, другие последуют безостановочно. Журналы уже отдали полную справедливость

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
важности предприятия г. Кетчера и достоинству его перевода; а возможность продолжать предприятие доказывает, что на Руси есть люди, которые читают не одни сказки и умеют понимать не одни «репертуарные» пьесы... В 7 № «Отечественных записок» помещен превосходный перевод «Двенадцатой ночи» г. Кронеберга; в «Пантеоне русского и всех европейских театров» – замечательный по своему поэтическому достоинству перевод г. Каткова «Ромео и Юлия»; в «Библиотеке для чтения» – «Сон в ивановскую ночь», как-то странно переведенный;{124} в «Репертуаре русского театра» – «Кориолан» – в четырех (?) действиях, прозой (№ 4) и «Отелло», переведенный весьма посредственно и вяло, стихами (№ 9){125}. Лучшие переводные романы тоже в журналах: «Виттория Аккоромбона» Лудвига Тика в «Отечественных записках» (№№ 3 и 4); экстракт из того же романа в «Библиотеке для чтения» (№ 5); «Оливер Твист», роман Диккенса, в «Отечественных записках» (№№ 9 и 10); «Оллен Камерон»{126} в «Библиотеке для чтения» (№№ 8, 9 и 10). Этот роман приписывается Вальтеру Скотту. Герой его – Карл II, представленный здесь совершенно наоборот тому, как представлен он в романе Вальтера Скотта «Вудсток». Впрочем, роман, чей бы он ни был, читается легко и с удовольствием. Отдельно вышедшие переводы: напечатанный в «Отечественных записках» 1840 года перевод превосходного романа Купера «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море»; прекрасный перевод с подлинника, стихами, поэмы Тегнера «Фритиоф» г. Грота: это был истинный подарок русской литературе; перевод «Клавиго», драмы Гете, г. Струговщикова.

Вот вся наша изящная и беллетристическая литература: мы не пропустили ничего сколько-нибудь примечательного и забыли только о вещах, которые не стоят того, чтоб их помнить... Самое утешительное и отрадное явление последнего времени есть, без сомнения, движение в ученой и учебной литературе России. Вот перечень всего примечательного по этой части: «Описание финляндской войны 1808 и 1809 годов» Михайловского-Данилевского; «О России в царствование Алексея Михайловича, современное сочинение Григория Кошихина»; «Энциклопедия законоведения» профессора Неволина; «Основания уголовного судопроизводства» профессора Баршева; «Уральский хребет в физическо-географическом, геогностическом и минералогическом отношениях» профессора Щуровского; «Китай, его жители, нравы и пр.» отца Иакинфа; «Картинная галерея», изданная А. Плюшаром; «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю» и прибавление к этому путешествию, фон Врангеля; – «О больших военных действиях» генерала Окунева; «Лекции статистики» Рославского; «История смутного времени в России в начале XVIII века» (вторая часть) Бутурлина; «Руководство к познанию средней истории» Смарагдовая «Древняя история» профессора Лоренца; первый том ученого альманаха «Юридические записки»; издаваемого профессором Редкиным.

Всех книг на русском языке, кроме периодических изданий, брошюр и отдельно отпечатанных журнальных статей, вышло в прошлом году около четырехсот; из них по части изящной литературы, оригинальных и переводных, новых и вновь изданных, выше насчитали мы всего шестнадцать; все остальное в журналах; – ученых сочинений тоже шестнадцать; итого всего тридцать две... Что же такое остальные 368 книг? – «Цын-Киу-тонг», роман г. Зотова; «Деньги», комическая поэма; «Разгулье купеческих сынков»; «Мечтатель», роман г. Воскресенского; «Веселый порошок» Васильева; «Дочь разбойника»; «Сорок лет пьяной жизни»; «Жизнь Вильяма Шекспира», сочинение г. Славина; «Козел-бунтовщик»; «Гулянье под Новинским»{127} и пр. и пр. Право, тут спросишь невольно: «Да где ж они? – давайте их!..»

Поверьте мне: судьбою несть
Даны нам тяжкие вериги.
Скажите, каково прочесть
Весь этот вздор, все эти книги,
И всё зачем? – чтоб вам сказать,
Что их не надобно читать?..{128}

Однако же есть и своя утешительная сторона в прозаическом и повествовательном направлении нашей литературы: значит, оно сближается с обществом, с действительностию, хочет быть сознанием общества, его выражением. Заметьте, что теперь без хороших оригинальных повестей журнал погиб в понятии публики, которая хочет видеть себя, свою действительность в литературе и потому холоднее принимает произведения, в которых изображается чуждый ей мир. Стихотворения теперь читаются меньше, и потому общее внимание могут обращать на себя только замечательные таланты: это тоже добрый знак! Вообще, много хороших элементов, много добрых признаков; только все это как-то нерешительно, бесцветно, в каком-то хаосе. На арене литературы еще слышны старые голоса, поющие старые песни и имеющие своих слушателей: вместе с новыми голосами они образуют довольно

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
нескладный и дикий концерт. Особенно любопытное зрелище представляет наша ученая литература: с одной стороны, некоторые журналы вопиют против просвещения и Европы, с другой – выходят книги Неволлина, Баршева, Редкина, Лоренца...

Мы видим, что русская земля богата талантами: какова бы ни была наша литература, но она – огромное явление для каких-нибудь ста лет; в ней есть имена, озаренные ореолом гения, в ней есть яркие таланты; но первые не стали вровень с самими собою, а вторые часто, обнаружив много сил, мало сделали. С другой стороны, в публике, без которой никогда не может быть истинной, действительной литературы, – в публике господствует хаос мнений, пестрота вкуса, способность обольщаться возгласами спекулянтов и ничтожными явлениями. Какая всему этому причина? – Отвечать не трудно: с одной стороны, недостаток внутренних интересов в обществе, с другой – недостаток солидного, прочного, основанного на науке образования. Посмотрите, что иногда проповедают наши журналы: если поверить им, то нужно только выучиться грамоте, чтоб все понимать и обо всем судить, особенно о поэзии. Удивительно ли после этого, что у нас всякий судит легко и важно о Шекспире, которого он не читал даже в переводах, а видел только на русской сцене, – о Байроне, Гете, Шиллере, даже Гомере. У нас как будто никто и не понимает, что без изучения глубокого и напряженного, без наукообразного развития эстетического чувства нельзя понимать поэзии; что непосредственное чувство без размышления и вникания ни к чему не ведет, кроме личных предубеждений в пользу или не в пользу того или другого поэта, того или другого поэтического произведения. Как у нас читают? Взял драму Шекспира – прочел, зевая, десяток страниц, – не нравится, и бросил; но это бы еще ничего, а худо то, что вот уже готово и мнение вроде следующего: «Эта драма плоха, следовательно, о Шекспире у нас только кричат, а толку-то в нем мало». Конечно, нет ничего легче и даже приятнее, как оправдать свою ограниченность, невежество и необразованность тем, что Шекспир никуда не годится... У нас хотят читать только глазами, а не умом; чтение, требующее усилия мыслительной способности, почитается пустым, губящим золотое время занятием. У нас играют в поэзию, в литературу и науку, как в мячик. У нас думают, что и философия может быть таким же легким и приятным препровождением времени, как чтение газетного фельетона: прочел и понял все, а не понял – темно и глупо написано... Бог судья людям, рассеивающим в обществе такие невежественные понятия!.. Посмотрите, что и как у нас пишут о Гегеле люди, не имеющие о нем никакого понятия... Переведут глупую, невежественную статью какого-нибудь презираемого в Германии за свое невежество и недобросовестность мистика и решат, что Гегель чудовище! А добродушная безграмотность, видя в восхищении, что ей тут все по плечу, все понятно, восклицает: «Вон каков этот Гегель, а у нас его прославляют!..»{129} Причитавшись к таким мнениям, прислушавшись к таким толкам, всякий порядочный человек позволяет себе не знать, что пишется в наших журналах и книгах, – что делается в нашей литературе...

Вся надежда на будущее. Наука у нас видимо принимается; публичное образование развивается на твердых началах, и незаметно, невидимо подрастает новая публика, с просвещенным мнением, с образованным вкусом, с разумными требованиями. Что-то тогда будут делать многие наши «заслуженные и опытные литераторы», когда эта вдруг выросшая публика скажет им: «Подите прочь с своими смешными притязаниями; я не знаю вас!» – Да мы написали... мы издали... наши сочинения разошлись... наши книги шли бойко... – «Да где ж они? – давайте их!..»

Примечания

Впервые – «Отечественные записки», 1842, т. XX, № 1, отд. V «Критика», с. 1–52 (ц. р. 31 декабря 1841 г.; вып. в свет 2 января). Без подписи. Вошло в КССБ, ч. VI, с. 5–104.

14 апреля 1842 г. Белинский писал М. С. Щепкину, что эта статья привлекла внимание министра народного просвещения С. С. Уварова, который «сказал цензорам, что хотя в ней и нет ничего противного цензуре и хотя он сам пропустил бы ее, но что тон ее не хорош (то есть: эй, вы, каналы, – пропустите вперед такую, так я вас вздую)».

Во втором по счету годовом обзоре русской литературы критик столь же критически оценивает общий уровень текущей словесности, как и в статье «Русская литература в 1840 году»; через всю работу рефреном проходит пушкинская строка: «Да где ж они? – давайте их!», которая отражает нетерпеливое ожидание подлинно художественных произведений. И так же, как и в предшествующем обзоре, большое

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru место уделено Белинским экскурсу в историю русской словесности, который должен оправдать в глазах читателей его «надежду на будущее».

Статья Белинского заинтересованно обсуждалась современниками. 17 января 1842 г. И. Г. Кольчугин писал о ней критику: «Стыдно сказать Вам, как она мне понравилась...» («В. Г. Белинский и его корреспонденты». М., 1948, с. 288; авторство Кольчугина установлено Ю. Г. Оксманом – ЛН, т. 56, с. 237). 27 февраля того же года А. В. Кольцов в письме Белинскому порицал диалогическую форму обзора (см.: А. В. Кольцов. Сочинения. М., 1966, с. 411), а 4 марта И. И. Лажечников писал А. А. Краевскому: «Прочел я разговор А. и Б. Зачем это делается, карамзинская форма изложения? Разговор не существует там, где нет борьбы мнений; он прекратился, когда лица согласились. А в разговоре А. и Б. одно лицо только и делает, что спрашивает и тыкает» (ЛН, т. 56, с. 165). В «Былом и думам» Герцен передает следующий разговор с Белинским по поводу обзора: «Как тебе нравится моя последняя статья? – спросил он меня...» «Очень, – отвечал я, – все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» – «И в самом деле так, – сказал, помирая со смеху, Белинский, – ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!» (Герцен, т. VIII, с. 289). В современном литературоведении высказывалось предположение, что «Белинский обратился к форме диалога и по цензурным соображениям» (В. Г. Березина. Белинский и вопросы истории русской журналистики. Л., изд-во ЛГУ, 1973, с. 130).

Сноски

1

в четвертую долю листа (лат.). – Ред.

2

См. его «Abhandlung über naive und sentimentalische Richtung». («Трактат о наивной и сентиментальной поэзии» (нем.). – Ред.)

3

Вниманию читателей! (франц.) – Ред.

4

верх ловкости (франц.). – Ред.

Комментарии

1

Критик цитирует две строфы, исключенные Пушкиным из окончательного текста третьей главы «Евгения Онегина» (впервые опубликованы в IX томе первого посмертного собрания сочинений Пушкина, СПб., 1841, с. 189–190; ср.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VI. Л., 1937, с. 583–584).

2

Там же, с. 583.

3

Двустиише Г. Р. Державина (1777).

4

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
Строка из «Эпистолы II» («Эпистолы о стихотворстве», 1748) А. П. Сумарокова.

5

Цитата из статьи Н. И. Надеждина «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии» («Вестник Европы», 1830, № 2, с. 140), представляющей собой переработанный отрывок из его диссертации «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830). Здесь и далее курсив в цитатах Белинского.

6

Критик неточно цитирует статью «Путешествие из Москвы в Петербург» (1836; глава «Ломоносов» была единственным отрывком из нее, увидевшим свет к 1842 г.).

7

Имеется в виду трехтомное «Собрание сочинений М. В. Ломоносова» (СПб., 1840; издание императорской Российской академии). Рецензию на него см.: наст. изд., т. 3, с. 445–447.

8

См.: «...может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить...» («Ревизор», д. 1, явл. I).

9

Выражение из письма М. В. Ломоносова И. И. Шувалову от 19 января 1761 г. Критик цитирует его по первой публикации в альманахе «Уrania на 1826 год» (М., 1825, с. 54–55). См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. X. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1957, с. 545–547. (Отрывок из этого письма приводится в рецензии на I часть «Очерков жизни и избранных сочинений А. П. Сумарокова» С. Н. Глинки – наст. т., с. 460).

10

Полное собрание сочинений Сумарокова, т. IV, стр. 63.

11

См.: А. П. Сумароков. Полн. собр. соч. в стихах и прозе..., ч. IV. М., 1787, с. 63.

12

Там же, стр. 64.

13

См. выше, примеч. 9.

14

Рецензии на 1 и 2–3 части издания С. Н. Глинки см.: наст. т., с. 457–461; с. 493–498.

15

Имеются в виду прежде всего работы Н. И. Греча: «Учебная книга российской словесности» (1819–1822), «Опыт краткой истории русской литературы» (1822), «Чтения о русском языке» (ч. I–II, 1840).

16

Традиционная характеристика Сумарокова в литературе XVIII – начала XIX в. См.: «Театра русского отец, // Изобличитель злых пороков, // Расин полночный, Сумароков!» (В. И. Майков. Ода о вкусе Александру Петровичу Сумарокову). Ср.: «Меж тем, как то признал французский сам Парнас, // Что Сумарокова дойдет в потомство глас; // Он наш Софокл, отец театра он у нас...» (А. А. Палицын. Послание к Привете, или Воспоминание о некоторых русских писателях моего времени. Харьков, 1807, с. 6).

17

Мельпомена – муза трагедии в греческой мифологии.

18

Рецензию на новое издание «Душеньки» см.: наст. т., с. 410–414.

19

Цитата из сатиры А. И. Писарева «Певец на биваках у подошвы Парнаса» (1825), впервые опубликованной лишь в 1859 г. в «Библиографических записках» (т. II, № 20). Приведенные строки относятся к Н. А. Полевому.

20

Критик цитирует былинку «Калин-царь».

21

В журнальном тексте было: фантастическом. Исправлено по КСБ.

22

Тезис об отсутствии «общечеловеческого содержания» в подвигах богатырей из русских народных песен развит критиком в «Статьях о русской народной поэзии» (см.: наст. т., с. 193, 227–228) и соответствует его представлению об исторической ограниченности фольклора вообще (см. преамбулу примечаний к указанным «Статьям...»).

23

Это высказывание – полемическое преувеличение: в своих последних стихотворениях – например, в «Полигимнии» (1816) – Державин выражал надежду на то, что он обретет бессмертие именно как поэт.

24

В журнальном тексте было: подземных.

25

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
Перифраза строк из стихотворения «Осень во время осады Очакова» (1788):

.
Идет седая чародейка,
Косматым машет рукавом;
И снег, и мраз, и иней сыплет,
И воды претворяет в льды;
Пустыни сетуют и доли,
Голодны волки воют в них;

.
Ушел олень на тундры мшисты,
И в логовище лег медведь...
Ниже приводится отрывок из этого стихотворения.

26

См.:

Я знаю: дам хотя заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С благонамеренным в руках!
(«Евгений Онегин», гл. 3, XXVII)

27

Имеются в виду немецкие писательницы и общественные деятельницы Беттина Арним (жена Л. Арнима и сестра К. Brentano) и Рахель Варнгаген фон Энзе (жена К.-А. Варнгагена фон Энзе).

28

В № 2 «Отечественных записок» за 1841 г. (отд. II) В. П. Боткин опубликовал компиляцию из книги А. Джемсон «Характеры шекспировских женщин» – «Женщины, созданные Шекспиром. Юлия и Офелия». 1 марта 1841 г. критик писал Боткину: «Теперь о мисс Джемсон: вот женщина-то! Только теперь понял, что такое гениальная женщина. О Юлии бесподобно, дивно, но Офелия все заслонила и убила собою – лучшего по части критики я не читал ни во сне, ни наяву с тех пор, как родился».

29

Книга Т. Гомберг вышла в 1839 г.

30

Имеется в виду «Послание к слугам моим. Шумилову, Ваньке и Петрушке» (1760-е гг.).

31

Комедия Г. Ф. Квитки-Основьяненко (1829).

32

См. примеч. 13.

33

Ср. в «Литературных мечтаниях»: «Карамзин предположил себе целью – приучить, приохотить русскую публику к чтению» (наст. изд., т. 1, с. 82).

34

Роман М. М. Хераскова (1789).

35

Критик ошибался: произведения Карамзина активно переводились на европейские языки уже с конца XVIII в. (см.: Т. А. Быкова. Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе. – В кн.: «XVIII век», сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. Л., «Наука», 1969, с. 324–342).

36

О значении Петра I для русской истории см. статью «Россия до Петра Великого» – наст. т., с. 31–63. Алкид (Геракл) – герой древнегреческой мифологии – еще младенцем задушил двух змей, посланных богиней Герой, чтобы убить его.

37

Душа.

38

Имеются в виду критические замечания об «Истории государства Российского» (т. I–XII. СПб., 1818–1829) Н. М. Карамзина, высказанные М. П. Погодиным («Московский вестник», 1828, № 4, с. 483–490), Н. С. Арцыбашевым (там же, 1828, № 19–20, с. 285–318; № 21–22, с. 52–91; № 23–24, с. 254–285) и особенно Н. А. Полевым («Московский телеграф» 1829, ч. XXVII, № 12, с. 467–500).

39

Имеется в виду Несторова редакция «Повести временных лет».

40

Имеется в виду первый источниковедческий анализ «Начальной летописи», проделанный А.-Л. Шлецером в работе «Нестор. Русские летописи на древле-славянском языке...», ч. 1–3. СПб., 1809–1819 (4 тома немецкого подлинника вышли в Геттингене в 1802–1805 гг.).

41

Этот упрек содержался в рецензии Н. А. Полевого (см. примеч. 36), который в связи с этим полагал, что «История...» Карамзина являлась уже устаревшим трудом.

42

В предисловии к первому тому своей «Истории русского народа» (М., 1829; издание прекратилось на шестом томе, вышедшем в 1833 г.) Полевой заявил, что работы Б. Нибура, Ф. Гизо, О. Тьерри и других западноевропейских историков новейшего времени представляют собой «важнейшие предметы, предварительного изучения коих требует всякая история, следственно, и история русского народа» (с. LXXXII). «История...» Полевого была посвящена Б. Нибуру – «первому историку нашего века».

43

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
Этой фразой открывался шестой том «Истории...» Карамзина; речь шла о царствовании
Ивана III.

44

О сочинении Г. М. Котошихина см. статью «Россия до Петра Великого» – наст. т.,
с. 7–63.

45

Апологетически относясь к деятельности Ивана Грозного (подробнее об этом см.: Н.
И. Мордовченко. Иван Грозный в оценках Белинского. – «Звезда», 1945, № 10–11, с.
183–191), критик не принимал точку зрения Карамзина, который резко осуждал
деятельность этого монарха во второй период его царствования (опричнину и т.
д.).

46

Критик иронически обыгрывает название журнала О. И. Сенковского.

47

«Хорее» (1747) – трагедия А. П. Сумарокова.

48

О прижизненном успехе трагедий В. А. Озерова см., например: С. П. Жихарев.
Записки современника. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1955, с. 320–327.

49

Строка из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества
государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М. В. Ломоносова.

50

В этих выражениях характеризовал Державина Н. А. Полевой в статье, посвященной
этому поэту (см.: Н. А. Полевой. Очерки русской литературы, ч. I. СПб., 1839, с.
4, 33 и др.).

51

Строка из басни И. А. Крылова «Медведь у пчел» (1816).

52

«Горе от ума» (д. III, явл. 3; слова Молчалива).

53

«Марьяна роца» (1809) – повесть В. А. Жуковского; «Предслава и Добрыня» (1810) –
повесть К. Н. Батюшкова.

54

В журнальном тексте было: чем стороны.

55

Стихотворение Жуковского «Теон и Эсхин» (1813 или 1815) и его баллады «Ахилл» и «Эолова арфа» (обе – 1815) являются оригинальными произведениями.

56

Имеются в виду стихотворения «Жалоба» (1811) и «Песня» (1809).

57

Критик упоминает эпизод из «старинной повести в двух балладах» «Двенадцать спящих дев» (баллада вторая «Вадим» – 1817).

58

В журнальном тексте было: «Долина». Здесь и выше перечисляются вольные переводы произведения Р. Сути, Гёте, Байрона, Шиллера, Матиссона и др.

59

Цитируется стихотворение Пушкина «К портрету Жуковского» (1818).

60

Под «ученым Аристархом» подразумевается Н. А. Полевой, со статьей которого о Жуковском критик полемизировал в статье на его «Очерки русской литературы» (см.: наст. изд., т. 2, с. 248–252).

61

Поэтический триумвират – Жуковский, Батюшков и Гнедич; литературный (точнее, литературно-издательский) – Булгарин, Греч и Сенковский (последний, однако, часто занимал независимую позицию – см.: В. А. Каверин. Барон Брамбеус. М., «Наука», 1966).

62

С. С. Уваров, в то время министр народного просвещения, был известным эллинистом.

63

«Евгений Онегин» (гл. 3, строфа XXXI). «Фрейшиц» – опера К. – М. фон Вебера «Вольный стрелок» (1821).

64

Педант – прежде всего С. П. Шевырев (см. одноименную статью – наст. т., с. 382–389), который октавами перевел 7-ю песнь «Освобожденного Иерусалима» (1831) Т. Тассо.

65

Имеется в виду стихотворение «Шишкову» (1816).

66

Имеется в виду стихотворение «Стансы Толстому» (1819).

67

Имеется в виду стихотворение «Всеволожскому» (1819).

68

Имеется в виду С. Е. Раич, автор цикла статей о Пушкине, опубликованных в 1839 г. в журнале «Галатей».

69

Неточная цитата из статьи Н. В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1832).

70

Критик цитирует указанную статью Гоголя с мелкой неточностью.

71

«Евгений Онегин»(гл. 7, строфа XLVIII).

72

«Руслан и Людмила» (песнь первая).

73

Критик иронически обыгрывает название первого сборника Н. А. Некрасова «Мечты и звуки» (1840), отрицательную рецензию на который см.: наст. изд., т. 3, с. 372–373.

74

Белинский имеет в виду кратковременность издававшихся В. Н. Олиным газет «Рецензент» (1821) и «Колокольчик» (1831) и «Журнала древней и новой словесности» (1819). В течение двух лет (1829–1830) Олин выпускал альманах «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности».

75

См. выше преамбулу примечаний к рецензии на «Москву благотворительную» Ф. Н. Глинки.

76

В 1842 г. А. И. Подолинский был еще жив, но его поэтическая деятельность к этому времени угасла.

77

Оценка Хомякова отчасти была вызвана обнаруживающимися разногласиями критика со славянофилами (см. примеч. 42 к статье «Россия до Петра Великого»).

78

Перефразировка слов Чацкого:

Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнания иноземцев.
(«Горе от ума», д. III, явл. 22)

79

Цитата из «Медного всадника» (1833) приводится с цензурным искажением. 3-я строка читается: «Насмешка неба над землей?»

80

Роман М. Н. Загоскина (1829).

81

Аналогичную мысль критик развивает в статье «Кузьма Петрович Мирошев... Соч. М. Н. Загоскина» – наст. т., с. 361.

82

См., например, рецензии Ф. В. Булгарина: «Литературные листки» (1824, ч. IV, октябрь) и Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» (1825, ч. IV, № 16).

83

Имеется в виду роман В. Т. Нарезного «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (ч. I–III. СПб., 1814). Три заключительные части этого романа были изданы только в 1938 г.

84

Намек на романы Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1830).

85

Реплики из «Тараса Бульбы» (1835).

86

Перефразированная строка из басни И. А. Крылова «Гуси» (1811).

87

Неточная цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя варя» (1826).

88

Строка из басни И. А. Крылова «Ларчик» (1807).

89

Намек на невзыскательный вкус издателей журнала «Репертуар русского театра» (см. Страница 46)

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru рецензии, посвященные отдельным его выпускам, – наст. изд., т. 3).

90

Работа Барро и Даррагона «Альбигойцы и крестовые против них походы в XIII столетии» см.: «Отечественные записки», 1841, т. XVI–XVII, № 6–7, отд. II; перевод А. Шумилова.

91

С 1842 г. издателем «Сына отечества» стал О. И. Сенковский, который уже с 1840 г. выживал и выжил – редактора этого журнала А. В. Никитенко (см.: А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. I. М.; Гослитиздат, 1955, с. 226, 228, 237–238, 503). В этой фразе критик перефразирует строки из эпиграммы Пушкина на издателя «Вестника Европы» М. Т. Каченовского «Там, где древний Кочерговский...» (1829):

Под холодный веник свой
Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой.

92

Оба издания в этот период редактировались О. И. Сенковским.

93

Ср. в рецензии на 2-ю и 3-ю части издания С. Н. Глинки «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова» – наст. т., с. 493.

94

«Библиотека для чтения», 1841, № IV, «Литературная летопись», стр. 16.

95

«Библиотека для чтения», 1841, № IV, «Литературная летопись», стр. 17.

96

«Ревизор», комедия Гоголя, стр. 82 первого издания.

97

В цитируемой критиком статье Сенковского. развивалась мысль о существовании в русском языке неизменной оппозиции: долгие слоги – короткие слоги (как в греческом языке). Третья из приводимых цитат – фраза, которая, как полагал Сенковский, составлена «из одних чисто коротких слогов». Курсив во второй цитате – Белинского.

98

Критик высмеивает орфографические нормы «Библиотеки для чтения».

99

«Библиотека для чтения», № IV, стр. 3.

100

Иронический, по близкий к тексту, пересказ рассуждений Сенковского; кум Емельян – персонаж сказки В. И. Даля (Казака Луганского) «О некоем православном покойном мужичке и о сыне его, Емеле дурачке» (1833). Здесь и далее в цитатах курсив Белинского.

101

См. заметку «Некоторые из новейших открытий в Помпее» («Библиотека для чтения», 1841, т. XLIX, № II, отд. VII, с. 4–12).

102

Ср. в рецензии на альманах «Утренняя заря на 1841 год» заявление о том, что Кукольник «обнаруживает уже исполинский, ужасающий своей огромностью, талант его как писателя» («Библиотека для чтения», 1841, т. XLV, № 3, отд. VI, с. 3).

103

Сенковский был известен как яростный противник употребления форм «сей» и «оний» (см., например: «Библиотека для чтения», 1835, т. VIII, отд. VI, с. 26–34); в рецензии же его на три последние тома первого посмертного собрания сочинений Пушкина содержались критические замечания по поводу употребления слов «злато» и «младость», охарактеризованных критиком как «макаронизмы» (см.: «Библиотека для чтения», 1841, т. XLIX, № 11, отд. VI, с. 2–3).

104

См.: «Библиотека для чтения», 1841, т. XLIX, № 11, отд. III.

105

См.: «Библиотека для чтения», 1841, т. XLIX, № 11–12, отд. V; автором этой статьи являлся либо Сенковский, либо В. В. Григорьев.

106

См.: «Современник», 1841, т. XXIV, отд. III; автором этой статьи являлся С. И. Барановский.

107

См. примеч. 1 к рецензии на I часть «Очерков жизни и избранных сочинений Александра Петровича Сумарокова» С. II. Глинки.

108

См.: «Русский вестник», 1841, т. I, № 1; автором этой статьи был Н. А. Полевой. (В цитате слово «внешний» выделено Белинским.)

109

«Горе от ума», д. IV, явл. 4 (из монолога Репетилова).

110

Критик цитирует – с мелкой неточностью – статью Гоголя «О движении журнальной

Русская литература в 1841 году. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
литературы в 1834 и 1835 году».

111

Эта статья была напечатана анонимно, однако сохранился экземпляр первого тома «Современника», в оглавлении которого раскрывалось авторство Гоголя (см.: В. Г. Березина. Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». – В сб.: «Гоголь, Статьи и материалы». Л., Изд-во ЛГУ, 1954, с. 70–85).

112

См.: «Северная пчела», 1841, № 104 и 134; рецензии на постановки двух опер А. Н. Верстовского были написаны Ф. А. Кони.

113

Об этом писал О. И. Сенковский в рецензии, указанной в примеч. 97.

114

См. примеч. 1 к рецензии на IX, X и XI тома «Сочинений Александра Пушкина».

115

Романсы на слова А. В. Кольцова были написаны к тому времени Ф. М. Толстым («Не шуми ты, рожь», «Молодая жница» – у Кольцова «Жница на поле»), М. И. Глинкой («Если встречу с тобой»), А. Е. Варламовым («Ты не пой, соловей») и другими композиторами.

116

Первый сборник Кольцова вышел в свет в 1835 г., следующий же появился в 1846 г. со вступительной статьей Белинского.

117

См.: наст. т., с. 340–360.

118

«Византийские легенды» (1841) и «Аббадонна» (1834, 1838) – романы Н. А. Полевого.

119

Под псевдонимом А. И. публиковал свои произведения П. Н. Кудрявцев.

120

Критик цитирует повесть Е. А. Ган «Идеал» («Библиотека для чтения», 1837, т. XXI, отд. I, с. 144).

121

Критик цитирует «Суд света» («Библиотека для чтения», 1840, ч. XXXVIII, отд. I, с. 100) с мелкой неточностью.

122

Иван Михайлович – персонаж рассказа Кукольника «Прокурор» («Русский вестник», 1841, т. I, № 2).

123

По поводу отрывка Искандера (А. И. Герцена) «Еще из записок одного молодого человека» критик писал Н. Х. Кетчеру 3 августа 1841 г.: «Статья Герцена – прелесть, объединение. Давно уже я не читал ничего, что бы так восхитило меня».

124

Перевод «Сна в Ивановскую ночь», опубликованный в «Библиотеке для чтения» (1841, т. XLV, № 4, отд. II), принадлежал И. В. Росковшенко.

125

Перевод «Кориолана» («Репертуар русского театра», 1841, т. I, кн. 2, отд. I) был выполнен В. А. Каратыгиным, а перевод «Отелло» (там же, 1841, т. II, кн. 9, отд. I) – А. Е. Студитским. («Кориолан» – трагедия в пяти, а не в четырех действиях.)

126

Повесть «Эллен Камерон» (1829) была написана Э. Ранкин.

127

Автор поэмы «Деньги» (2-е изд. – 1840) – С. Дьячков; автор повести «Дочь разбойника, или Любовник в бочке» – Ф. С. Кузмичев; автор романа «Козел-бунтовщик, или Машина свадьба» – Н. Базилевич; автор повести «Гулянье под Новинским» – Н. А. Мельгунов.

128

Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

129 Имеются в виду статьи С. П. Шевырева «Беседы с Баадером» («Москвитянин», 1841, № 6), в которой отрицательное суждение о Гегеле опиралось на авторитет собеседника, известного немецкого философа-мистика, и «Взгляд русского на современное образование Европы» (там же, 1841, № 1), где автор высказывает собственное мнение о Гегеле.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!